

А. Н. Толстой

ПЕТР ПЕРВЫЙ



Классики и современники

Алексей Толстой

Петр Первый

«Художественная литература»

1929-1944

УДК 82/821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Толстой А. Н.

Петр Первый / А. Н. Толстой — «Художественная литература»,
1929-1944 — (Классики и современники)

ISBN 978-5-280-03959-9

Алексей Николаевич Толстой последние 16 лет жизни посвятил работе над романом «Петр Первый». В нем автор на широком историческом материале показал переломный период в жизни страны – создание Петром Великим нового государства – Российской империи. Первые две книги были опубликованы уже в 1934 году. Но писатель не успел завершить свой поистине гениальный замысел: в третьем томе написана шестая глава. Прошло не одно столетие, а к личности Петра Первого и его роли в становлении российской государственности до сих пор не ослабевает интерес. Книга рассчитана на любителей русской литературы и русского языка.

УДК 82/821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-280-03959-9

© Толстой А. Н., 1929-1944

© Художественная
литература, 1929-1944

Содержание

Книга первая	10
Глава первая	10
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	16
7	18
8	20
9	21
10	21
11	23
12	25
13	26
14	28
15	29
16	31
17	33
18	33
19	34
Глава вторая	36
1	36
2	38
3	41
4	46
5	46
6	48
7	49
8	50
9	51
10	52
11	54
Глава третья	57
1	57
2	59
3	61
4	62
5	64
6	68
7	71
8	71
Глава четвертая	73
1	73
2	76
3	80

4	81
5	82
6	83
7	84
8	85
9	86
10	87
11	89
12	90
13	92
14	93
15	96
16	96
17	98
18	100
19	103
20	104
21	109
22	111
23	112
Глава пятая	114
1	114
2	114
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Алексей Толстой

Петр Первый

Издательство благодарит МБУК городского округа Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького» за предоставление в издание шести иллюстраций

На первой сторонке обложки репродукция картины Ю. П. Пантюхина «Петр Первый. И грянул бой!»

На четвертой сторонке – Д. Шмаинов. «Петр под Юрьевым»



© Издательство «Художественная литература», 2023 г.

© Иллюстрации (шесть) МБУК Самарского г/о «СЛМ им. М. Горького», 2023 г. «СЛМ им. М. Горького», 2023 г.

Граф А. Н. Толстой: в литературу он вошел легко.

«Я вырос на степном хуторе верстах в девяноста от Самары», – начинал свою биографию Алексей Толстой.

В Самарской губернии, в Николаевске 29 декабря 1882 года (10 января 1883 года) родился Алексей Николаевич Толстой.

Его мать – Александра Леонтьевна (1854–1906), урожденная Тургенева – писательница, внучатая племянница декабриста Николая Тургенева – к моменту рождения сына ушла от мужа к Алексею Аполлоновичу Вострому, за которого официально выйти замуж не могла по определению духовной консистории, по сути бросив вызов правилам и устоям жизни того времени. Законный муж Александры Леонтьевны – граф Николай Александрович Толстой был знатен и богат, служил офицером лейб-гвардии гусарского полка. Однако семейная жизнь с ним не задалась.

Отчим и мать мальчика в силу жизненных обстоятельств поселились в деревне, и детские годы будущий писатель провел в небольшом имении А. А. Бострома на хуторе Сосновка, недалеко от Самары (в настоящее время – пос. Павловка в Красноармейском районе). Впечатления детства, природа Поволжья, дружба с крестьянскими детьми, деревенский уклад, а еще крестьянские посиделки со сказками и песнями он не забывал, и все воспоминания отразились в будущем на творчестве писателя.

Александра Леонтьевна, воспитывая сына, прививала ему любовь к чтению и литературному творчеству.

До 13 лет Алексей носил фамилию Востром, считая его своим отцом. Спустя четыре года Александра Леонтьевна смогла вернуть сыну титул, фамилию, отчество первого мужа. И Алексей стал графом Толстым.

В имении мальчик был на домашнем обучении, затем, когда ему исполнилось 14 лет, семья переехала в Самару. В губернском городе юноша поступил в реальное училище. После окончания молодой человек уехал в Петербург, поступил в Технологический институт на факультет механики. Но литературный труд всегда привлекал Алексея, его мама верила, что он обязательно станет известным писателем, но она не успела порадоваться успехам сына. Случилось так, что первая книга Толстого вышла уже после безвременной ее кончины.

Начал Толстой с поэзии, первый сборник его стихов вышел в 1907 году, который для него стал переломным: Алексей оставил учебу и начал заниматься литературным трудом. Но задолго до этого, уже во времена своего студенчества, Толстой понял, что у писателя должен быть свой, индивидуальный язык, и материалом ему послужили старинные сказки, фольклор, труды протопопа Аввакума, судебные акты XVII века. И потому, еще будучи студентом Технологического института, находясь на практике в течение полутора месяцев на Урале, в старинном городе Невьянске, Алексей собирал легенды, исторические материалы об этом крае, изучал его достопримечательности.

Вскоре вышел в свет сборник повестей и рассказов «Заволжье». Хотя книга понравилась Максиму Горькому, автор был недоволен и критически отнесся к своему творению, считая, что он выглядит перед читателем «неучем и дилетантом».

Результатом серьезной работы над языком стал выход сборника под названием «Сорочьи сказки» и книги поэтических произведений «За синими реками», ставшей последней, а главной для Алексея Толстого становится проза. Автор работал без устали. Современники удивлялись трудоспособности писателя. В 1911 году из-под его пера вышел роман под названием «Две жизни», в 1912 году – роман «Хромой барин». Затем была повесть «За стилем», сборник рассказов, пьесы, которые пользовались успехом в Малом театре столицы.

Началась Первая мировая война, и талантливый автор стал военным корреспондентом. Его фронтовые очерки печатались в газете «Русские ведомости». В качестве журналиста во время войны он побывал в Англии и Франции.

Беспокойная журналистская деятельность не мешала писателю творить. В 1915–1916 годах читатели получили возможность познакомиться с новыми рассказами Толстого: «Под водой», «На горе», «Прекрасная дама». И в это же время вышли две комедии: «Касатка» и «Нечистая сила».

Закончился 1916 год – в России становилось все тревожнее. Революция 1917 года многое изменила в жизни страны и не обрадовала писателя. Он внимательно присматривался к происходящему и летом 1918 года уехал с семьей в Одессу. Несмотря на события, разворачивающиеся вокруг, по-прежнему много работал. Вскоре появилась возможность эмигрировать в Турцию, затем семья Толстых переехала во Францию. В Париже он написал повесть «Детство Никиты», первую часть трилогии «Хождение по мукам», и, не изменяя себе, трудился в полную мощь. Но жизнь за границей не пришлась ему по душе, она тяготила своей неустроенностью. В 1921 году семья Толстых переехала в Берлин. Здесь он познакомился с Максимом Горьким, и уже через два года Алексей Николаевич вернулся на Родину.

Советское правительство радостно встретило писателя. Алексей Николаевич принял новый строй как историческую неизбежность.

Он был избран членом академии наук, депутатом Верховного Совета СССР. Теперь Толстой часто бывал на кремлевских приемах. Писателя поселили в Барвихе, прикрепили автомобиль с личным шофером.

Закончив трилогию «Хождение по мукам», вскоре Толстой пишет «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Известно, что для своей сказки он использовал произведение Карло Коллоди о деревянном человечке Пиноккио. Но это была глубокая творческая переработка исходного материала, и советские ребята познакомились с этим симпатичным героем.

Неожиданно он создает «Аэлиту», «Гиперболоид инженера Гарина», рассказ-утопию «Голубые города», и читатель не сразу принимает иные по содержанию произведения писателя. Но Максим Горький, прочитав их, понял, что эти научно-фантастические романы будут очень популярными.

Но автора уже привлекал и волновал новый замысел. Последние 16 лет жизни Алексей Толстой посвятил написанию своей главной книги – исторического романа «Петр Первый», над которым он работал с 1929 года. Две первые книги были опубликованы в 1934 году. Незадолго до своей смерти, в 1943 году автор начал третью книгу, но успел довести роман только до событий 1704 года. И уже весь роман был издан в 1945 году.

В эпоху Петра Первого Толстой увидел параллель со временем революционных преобразований послеоктябрьской России. И автор ставил перед собой цель в первую очередь показать преобразовательную, реформаторскую деятельность царя. Тема великого русского императора привлекала писателя еще и потому, что один из его предков, Петр Толстой, был видным сторонником Петра Первого.

Приступая к работе, писатель был убежден, что русский народ невозможно изучить без его истории, без богатого событиями прошлого. И он много времени искал нужный для книги материал. Много времени проводил за изучением исторических архивов, связанных с Петром Первым, и живо интересовался судьбами людей из его ближайшего окружения. Подготовка и погружение в петровскую эпоху началась у автора в 1918 году с небольшого рассказа «День Петра». В нем были выведены первые наброски будущего произведения.

Действие охватывает реальные события рубежа XVII и XVIII веков – от смерти царя Федора Алексеевича практически до взятия русскими войсками Нарвы. На широком историческом материале показан переломный период в жизни страны, создание исключительной личностью нового государства – Российской империи. Рядом с крупными историческими деятелями в романе выведены простые люди из народа. Документальные сведения пропущены через воображение художника, и благодаря этому события предстали живыми, образными, а целая эпоха ярко раскрылась в деталях, изображенных в их этнографической точности. «Действие романа переносится из дворца в курную избу, из боярской усадьбы со слюдяными окошечками в дымный кабак, из Успенского собора в царский розыск и т. д.». А появление вымышленных лиц позволило выразить в произведении и собственную точку зрения.

Не обошел вниманием Толстой и язык петровского времени: усиливая яркость и емкость языка своих персонажей, автор, отвергая громоздкие церковно-славянские обороты, которые могли составить колорит эпохи, использовал записки и дневники современников императора, написанные емким и понятным читателю языком.

Особенность романа состоит в том, что автор петровскую эпоху дает не изолированно, а напротив, преобразовательская деятельность Петра воспринимается А. Н. Толстым как явление закономерное, подготовленное предшествующей эпохой. И в этом процессе автор хоть и отдает дань достижениям западной науки и культуры, но все же основное для него – это развитие образования и науки в Отечестве своем.

К сожалению, Толстой не успел завершить свой гениальный замысел. Последнее, что он успел написать, была шестая глава третьего тома.

Петр Великий, пожалуй, самая часто упоминаемая личность в русской истории, а споры вокруг его роли в российской государственности не ослабевают и поныне. И можно отметить, что самое значительное произведение русской литературы, посвященное ему, – это роман Алексея Николаевича Толстого. Он прочно вошел в советскую литературу – с 1947 по 1990 годы переиздавался 97 раз.

Многие произведения писателя были экранизированы. По книгам Алексея Толстого созданы фильмы, вошедшие в Золотой фонд советской фильмографии: «Хромой барин»,

«Хождение по мукам», «Детство Никиты», «Гиперболоид инженера Гарина», «Золотой ключик», «Аэлита», «Формула любви», «Петр Первый», «Юность Петра».

Алексей Николаевич Толстой скончался от онкологического заболевания в феврале 1945 года и погребен на Новодевичьем кладбище.

Более тридцати пяти лет в Москве на улице Спиридоновка, где великий писатель провел свои последние годы, работает музей-квартира А. Н. Толстого.

Книга первая

Глава первая

1

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, – вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу, – все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках, до пупка.

– Дверь, оглашенные! – закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, – как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

– Озябли? А то на двор сбегает, посмотрим, – батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падая тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемиче, – так звала его мать, а люди и сам он себя на людях – Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, – высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом:

– Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

– Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попою вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

– Бегите в избу, я вас! – крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцей поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

– Ой, студено, люто, – сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный – конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падая со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

– Давеча, лопни мои глаза, вот напугалась... У порога – сор, а на сору – веник... Я гляжу с печки, – с нами крестная сила! Из-под веника – лохматый, с кошачьими усами...

– Ой, ой, ой, – боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба – тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырнадцатьми пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост – двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государственной службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год – новый наказ, новые деньги – кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика – почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истошало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, – крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, – скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, – откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, – гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, – мужику одно только и оставалось: думать...

«Ну, ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но – прорва, – эдакое государство! – разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть – озорство. Государевых людей ныне развелось – плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет. А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было наострил лапти, – поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, – на усадьбе же у Волкова, – а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

– Здорово, – сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

– Здорово.

– Ничего не слышно?

– Хорошего будто ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:

– Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирует.

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

– Кого же теперь царем-то скажут?

– Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

– Ну, парень! – Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. – Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

– Пропадем, а может, и ничего – так-то. – Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул. – Человек этот сказывал – быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожуюм, чай – бывалые. – Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

3

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей – образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал как положено:

– Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, – свои. Прогорворил: аминь, – и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца – кровля – шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы – подклеть – из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов – хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но, – мужики знали, – в кладовых у него одни мыши. А крыльцо – дай бог иному князю: крыльцо богатое...

– Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, – повинность, что ли, какая?.. – спросил Ивашка. – За нами, кажется, ничего нет такого...

– В Москву ратных людей повезете...

– Это опять коней ломать?..

– А что слышно, – спросил Цыган, придвигаясь, – война с кем? Смута?

– Не твоего и не моего ума дело. – Седой Аверьян поклонился. – Приказано – повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много – скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, – пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, – тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа – мужички. Те – кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, – где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, – как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:

– Боярин велел, – распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать – избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, – убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина

сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, – отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь – сытые!

В стороне, на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубаше, в разбитых лаптях, – Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно – бьют его здесь. Покоился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

– Ужинали?

– Ужинали.

– Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, – ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть, – делов у меня много. Чай, смилуется, – съезди за место меня в Москву.

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и – бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

– Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

– А ты кто тут, – нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

4

У Василия Волкова остался ночевать гость – сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленой печи, постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

– Тебе, – говорил гость степенно и тихо, – тебе, Василий, еще многие завидуют. А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, – остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками. Как жить? А?

– Ныне всем трудно. – Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. – Все бьемся... Как жить?

– Дед мой выше Голицына сидел, – говорил Тыртов, – у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим. К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть. Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку – дай, подьячему – дай, младшему подьячему – дай. Да еще не берут – косоротятся. Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, – едва эти деньги собрали, – да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждающая рожка и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть. Иные, кто половчее, помогают... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, – все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля. Так, чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, – их селами жалуют. Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

– Король бы какой взял нас на службу – в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки. Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать. Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие. Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам. Ну, что ж, они не православные, – их Бог рассудит... А как вошел я за ограду, – улицы подметены, избы чистые, веселые,

в огородах – цветы. Иду и робею и – дивно, ну будто во сне... Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами живут. И – богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами.

– Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны. – Михайла поглядел на босые ноги. – В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, – горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меншиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалование задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, – сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться, – челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меншиков говорил: погодите, они еще покажут.

– Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не ездил за Москву-реку.

– А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, – беги без оглядки. Меншиков рассказывал: иноземцы – те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке. А куда идут деньги? Меншиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри – золотой кожей.

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек – подменили, – усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила.

– Ты чего? – спросил Василий тихо.

– На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слышал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали. Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

– Не пужайся, я там не был, от Меншикова слышал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому. Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

– Спать надо ложиться, спать пора, – угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

– Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

– Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского. Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил, – только выпускал ночью за ворота искать добычи. Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подsunул под голову, глаза у него блеснули.

– Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

– Нет, не донесу.

5

За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде – кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, – все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, нестигающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками – тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилеи, хотя и робел, – как бы на смотру не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева – в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, – весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты – на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами, – мерин приседал. Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Язу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах – крик, ругань, давка, – каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, – как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, – зазывали к себе. За высокими заборами – каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей – тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие – на перекрестках – чуть в дверь чело-веку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнуся, заголяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то – калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая – трубой – соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, – много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей – дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!»... Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж – дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке

под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол! – покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, – румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:

– Почем, дяденька?

– Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги – полушка, – когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

– Давай, что ли, – грубо сказал Алешка.

Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, – ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлейф нет, – унесли. Кинулся к Цыгану, – тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове – пустой звон. Сел было на отвод саней – плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?...» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне, подбоченься, – в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать – орел. Позади – верхами – два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах – рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнуся до жалости, Алешка стал рассказывать про беду.

– Сам виноват! – крикнул Василий. – Отец выпорот. А сбрую отец новую не справит, – я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем!

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошадемок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и в двух шубах – бархатной и поверх – нагольной, бараньей, – сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

– Алешка, – сказал, и у самого – слезы, и губы трясутся, – Алешка, для бога беги к Тверским воротам, – спросишь, где двор Данилы Меншикова, конюха. Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю. Скажи – Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплосал. стыдно, мол... Дал бы он мне на день какого ни на есть коня – показаться. Запомнишь? Скажи – я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

– Просить буду, а он откажет? – спросил Алешка.

– В землю по плечи тебя вобью! – Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате лампы озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись – едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, – стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять – что? Немец нагнулся к его бескровным устам:

Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... На смертном одре – Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, – сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, – сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами, – голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня – сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков – маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий – Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын – писанный красавец: кудрявая борода с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко, – по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках, – князь роста был среднего.

Синие глаза его блеснули возбужденно. Час был решительный, – надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила – в родне. Петр – горяч умом, крепок телесно, Иван – слабоумный, больной, вей из него веревки... Что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался, – в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах, – Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют, – сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

– Гвалт, проше пана, – прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: – Ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, – он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, – от жары запотел, пах розовым маслом:

– И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка... А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду.

– Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, – хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.

– Будь так, – сказал, – быть царем Петру.

Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, – она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна были широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, – мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла – о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате,

насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, – завывала низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, – стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»

– Царь Федор Алексеевич преставился с миром... Бояре, поплачем...

Его не слушали, – теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампы. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

– У нас ножи взяты и панцири под платьем. Что ж, кричать Петра?

– Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А станут кричать Ивана Алексеевича, – бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу – стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, – кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

– Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

– Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

7

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинута на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице вверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом... «Ну, – подумал он, – живым отсюда не уйти...» Ухватился за обструганную чурочку на веревке, – едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое – поп с косицей, рыжая борода – венником, и низенький, рябой, с острым носом.

– Вгоняй ему ума в задние ворота! – кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому зад. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятка!» – визжал тот, кого порол. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

– Еще чадо, лупи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик, с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу – медному, потному, обдал жарким перегаром:

– Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?

Алешка, стуча зубами, стал рассказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, – ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забобился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы...

– Выбивай вора со двора, – заорал он, шатаясь, – Шарок, Бровка, взы его...

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меншиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.

– Ты, поп, писание читал, ты знать должен, – загудел он, – сын у меня от рук отбился... Заговорался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то? А?

Поп Филька ответил степенно:

– По писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны – бо душу избавляеши от смерти.

– Аминь, – вздохнул востроносый...

– Погоди, – отдышусь, я его опять позову, – сказал Данила. – Ох, плохо, ребята... Что ни год – то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Царское жалованье по два года не плочено... Жрать нечего стало... Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой, востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:

– Никониане¹ древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются, – хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести...» Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

– Псы! – Данила бухнул по столу.

– Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! – сказал поп Филька.

Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:

– И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол... И не видал ты и не знаешь духовного жития...»

Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.

– Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, – сказал он. – Дал бы бог – стрельцы за старину встали...

Он обернулся. Залаляли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Иисусову молитву. «Аминь», – ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.

¹ Никониане – последователи патриарха Никона и проведенной им в 1553 году церковной реформы.

– Пируете! – сказал спокойно. – А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Вот это беда, какой не ждали... Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам...

8

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо, – бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

– Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, – кого только что пороли.

– Как зовут? – спросил он.

– Алешкой.

– Чей?

– Мы – Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, – то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

– Пойдем греться, – сказал он. – А не пойдешь, гляди, я тебя... Дратся хочешь?

– Не. – Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.

– Пусти, – протянул голосом Алешка, – не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

– А куда пойдешь-то?

– Сам не знаю куда... Меня обещались в землю вбить по плечи... И дома меня убьют.

– Порет тятка-то?

– Тятка меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, – конечно, пороли...

– Ты что же – беглый?

– Нет еще... А тебя как зовут?

– Алексашкой... Мы Меншиковы... Меня тятка когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.

– Эх ты, паря...

– Пойдем, что ли, греться...

– Ладно.

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

– Васёнка, тятке ничего не говори, – скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабестряпухе. – Разувайся, Алешка. – Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.

– Давайте чего-нибудь говорить, – прошептал Алексашка. – У меня мамка померла. Тятка по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

– Они вытрясут, – поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

– То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел, – цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют... Пляс, песни... Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?

– С цыганами голодно будет, – сказал Алешка.

– А то наймемся к купцам чего-нибудь делать... А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, – он их ловит, он научит... Ты будешь медведя водить, а я – петь, плясать... Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

– Замолчи, постылая... Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно.

– С бабой хлопот много...

– К лету ее возьмем, грибы собирать, – она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы шей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегает, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось...

– Купца бы найти, наняться – пирогами торговать, – сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь, – уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

9

На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, – кружало – царев кабак. Над воротами – бараний череп. Ворота широко раскрыты, – входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, – у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.

В избе за прилавком – суровый целовальник с черными бровями. На полке – штофы, оловянные кубки. В углу – лампы перед черными ликами. У стен – лавки, длинный стол. За перегородкой – вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, – окликнет целовальник, надвинув брови, – не послушаешь честию – возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате, – степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, – дела ныне такие, что в затылке начешешься.

В передней избе у прилавка – крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет – снимай шубу. А весь человек пропился, – целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, – за ухом гусиное перо, на шее чернильница, – и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.

– Ныне пить легче стало, – говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. – Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил. Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен. Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и – в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

10

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов – красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гости-нодворцы. В тесноте надышали, – с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полужи-

вого человека, – он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки, – все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

– И с вами то же скоро будет...

– Дреmlете? А они на Кукуе не дреmlют...

– Ребята, за что немцы бьют наших?

– Хорошо, мы шли мимо, вступились... Убили бы его до смерти...

– При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

– По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно... Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупчили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждут... Ждите теперь таких пошлин и даней, – все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того – боярина Матвеева, – из ссылки едет... У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит.

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избили этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, с каждым годом – скуднее, тревожнее... Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили», – то новая беда: плати, гони деньги в прорву... Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают – выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать – им все равно. Последнюю рубаху сними, – отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях.

– Мы, то есть Воробьевы, – сказал, – привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы, – сговорились между собой, – того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями...

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.

– Я с Поморья, – сказал бойко, – ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал – с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь.

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

– Нам – дай срок – с полковниками расправиться. А тогда и до бояр доберемся. Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека, – тот завыл, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-ли», – и поволокли его из избы, распахивая народ, на Красную площадь – показывать.

Гостинодворцы остались в избе, – смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... А не свяжешься – все равно бояре проглотят...

11

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, – едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы, и – отошел, разговорился:

– Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами, – я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девчонка тихо плакала.

Алешке приснилась мать, – стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне.

Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается, совсем близко, заря туманными кровавыми полосами.

На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые – спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревуший скот – на водопой на речку Неглинную.

Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.

– Тут иди сторожо, тут царь недалеко, – сказал Алексашка.

По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы – по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опушенное лицо его исклевано птицами.

– А вон еще двое, – сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом, – это воры, во как их...

Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.

– Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

– Со мной ничего не бойся, дурень.

Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, – запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставлял без внимания, – дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, трясся, заикался:

«У-у-у-у-богому, си-си-сиротке, боярыня-матушка с го-го-голоду помираю...» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.

– Я тебе толкую – со мной не пропадешь, – сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие – погордиться обновой, иные – стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волосы, – зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Кое-кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади, – кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

– Православные, – со слезами говорили они на все стороны, – глядите, что с купцом сделали...

Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого, пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

– О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквам и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут...»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний – в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, показывал редкие желтые зубы, – широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй, – как прозвали его в Москве, – князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

– С нами, с нами, Иван Андреевич! – и побежали к нему.

Другой, подъехавший не так быстро, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

– Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем. А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу, – пол-Москвы можно купить за такую шубу, – глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, – огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стрема о стрема с Хованским.

– Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим, вниз головой с колокольни, – кричали ему стрельцы. – О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

– Стрельцы! – Он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его слышали самые дальние. – Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме. Теперь выбрали бог знает какого царя. Не я его кричал... И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете как холопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным. Хуже того... Продадут и вас и нас всех чужеземцам... Москву сгубят и веру православную искоренят... Эх, была русская сила, да где она!

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...» Алексашка Меншиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:

– Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

12

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.

– Дяденька, – сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке, – мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.

Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его, он бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» – отталкивал мальчишек и кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли за реку, к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой, на огороде – одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба – новые. «Вот они, пирожки, калачики, – обрадовался Заяц, когда увидел свой двор, – вот они медовые, голубчики, выручают меня».

Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» – кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать, – все рваное. Закрутил головой, заплакал.

– Убили меня, – сказал он кривой бабе. – Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть. – И вдруг заорал, застучал о лавку: – Баню затопи, я тебе приказываю, кривая собака!

Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:

– Выручили вы меня, ребята. Теперь – что хотите, просите... Тело мое все избитое, ребра целого нет... Куда я теперь, – возьму лоток, пойду торговать? Охти мне... А ведь дело не ждет...

Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал:

– Награды нам никакой не надо, пусть переночевать.

Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.

– Завтра пойдем вместо него пироги продавать, – шепнул Алексашка, – говорю – со мной не пропадешь.

Чуть свет кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги – постные с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные – с зайчатинной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом, – не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить Зайцеву скотину: в руках у него все так и горело, и все – с шуточками.

– Ловкач парень, – стонал Заяц, – ох, послал бы тебя с пирогами на базар... Так ведь уйдешь с деньгами-то, уворуешь... Больно уж расторопен...

Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены сорок святителей и целовал икону. Ничего не поделаешь, – Заяц поверил. Баба уложила в лотки

под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.

– Вот пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара, – звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих. – Вот, налетай, расхватывай! – Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: – Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Кремле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели.

Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.

– Вас, ребята, мне бог послал, – удивился Заяц.

13

Михайла Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Земли, мужиков не дали. Князь Ромодановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства – на добром коне.

С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс, полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю и пояс.

К Михайле прилипли двое бойких москвичей, – один сказался купеческим сыном, другой подьячим, – вернее попросту – кабацкая теребень, – стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку – курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до морока, – чудилась чертовщина, сладкая жуть.

Водили в царскую мыльню – баню для народа на Москве-реке, – не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.

Уговаривали пойти к сводне – потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах:

«Что есть жена? Сеть прельщения человекам. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа... Что есть жена? Покойще змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Как тут не заработать! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть, – из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно – от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы, – манить то одной, то другой рукой, в медных перстнях, звенящих обручах.

Показалась она ему бесовкой, – до того страшна, – до ужаса, – ее нагота... Дышит вином, пахнет горячим потом... Михайла вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу.

Желтый весенний закат меркнул в дали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной башней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг – медно-красный, – блестит Михайле в лицо... Страшно... Постукивают зубы, холод в груди... Завизжала дверь кабака, и на крыльце – белой тенью раскорячилась та же девка.

– Чего боишься, иди назад, миленький.

Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронutom, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.

Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи: «Куда в шапке на крыльцо прешь!» – один сорвал с Михайлы шапку. Однако – погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, сафьянных чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:

– Какое дело до боярина?

– Скажи Степану Семенычу, – друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.

– Скажу, – пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. Бедные – не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем: – Заходи.

Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, истово перекрестился на угол, где образа завешены парчовым застенком с золотыми кружевами. Покосился, – вот они как живут, богатые. Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу – ковры и коврики – пестрота. Бархатные налавочки на лавках. На подоконниках – шитые жемчугом наконники. У стен – сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрывку – на зипун или на ферязь, и во сне не приснится... Против окон – деревянная башенка с часами, на ней – медный слон.

– А, Миша, здорово, – проговорил Степка Одоевский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился – пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же, не как холопу, а как дворянскому сыну, подал влажную руку – пожать. – Садись, будь гостем.

Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове – вышитая камнями туфейка. Лоб – бочонком, без бровей, веки красные, нос – кривоватый, на маленьком подбородке – реденький пушок. «Такого соплей перешибить выродка, и такому – богатство», – подумал Михайла и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век.

– Степан Семеныч, для бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову приклонить... Хоть в монастырь иди... Хоть на большую дорогу с кистенем... – Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклянились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал, – сказал про кистень будто так, по скудоумию... – Степан Семеныч, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую...

Помолчали. Михайла негромко, – прилично, – вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.

– Что ж тебе присоветовать, Миша... Много есть способов для умного, а для дураков всегда сума да тюрьма... Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов две добрые деревеньки оттягал у соседа... Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал в Москве у Чиловых...

– Слышал, дивился... Да как ухватиться-то за такое дело – оттягать? Шутка ли!

– Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают...

– Как это – оговори?

– А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настроичи донос...

– Да в чем оговаривать-то? На что донос?

– Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить... Вон, Левка Пусторослев пошел к Чилову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо, и поддакивал... Старик Чилов и брякни за столом: «Дай-де бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить, в Кремле-де прошлую ночью кура петухом кричала...» Пусторослев не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» – Всех

гостей с именинником – цап-царап – в приказ Тайных дел. Пусторослев: «Так, мол, и так, сказаны Чизовым на государя поносные слова». Чизову руки вывернули и – на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторослеву за верную службу – чижевскую усадьбу, а Чизова – в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают... – Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. – Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последнее отдать, от суда отвязаться...

Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:

– Не опытен я по судам-то, Степан Семеныч.

– А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил... (Степка засмеялся до того зло, – Михайла отодвинулся, глядя на его зубы – мелкие, изъеденные.) По судам ходить нужен опыт... А то гляди – и сам попадешь на дыбу... Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого – бей... Ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха...

– Степан Семеныч, как я – без страха...

– Помолчи, молчать учиться надо... Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает?.. Вот, мне скучно... Плеснул в ладоши... В горницу вскочили холопы... Потешьте меня, рабы верные... Взяли бы тебя за белые руки, да на двор – поиграть, как с мышью кошка... – Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые. – Не пужайся, я нынче с утра шучу.

Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.

– Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.

– Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду, – холодно и важно ответил Степка. – Ну, бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут – упирайся, не ходи. Да заставлю сесть, – не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.

У Михайлы затрепетали ноздри, – все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.

– Надо, надо помочь твоему убожеству... Есть у меня одна забота... Молчать-то умеешь?.. Ну, ладно... Вижу, парень понятливый... Сядь-ка ближе... (Он стукнул тростью, Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально.) Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо убоготворить.

– По этой части? – Михайла густо залился краской.

– По этой самой, – беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками... Есть одна боярыня знатная... Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении – тогда твое счастье... А заворуешься – велю кинуть в яму к медведям, – и костей не найдут. (Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок.) Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежды доброй... Ужинать ко мне его приведешь.

14

Царевна Софья вернулась от обедни, – устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то – чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь...» Пускай серчает царица Наталья.

Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек... В светлице – чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье.

Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкафчик: великий пост – не до книг, не до забав.

Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу... В великопостные-то дни!.. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи, – неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит, – не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех... «Ну, что ж, отмолю... Все святые обитатели обойду пешком... Пусть войдет».

В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен... Кричи, изгрызи руки, – все равно уходят годы, отцветает молодость... Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью... Из светлицы одна дверь – в монастырь.

Сколько их тут – царевен – крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы, – никто не слышал, не видел. Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, – вырвалась, как шальная птица, из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу – люби... И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, – возлюбленный со сладкими речами, любовник, вкрадчивый и нетерпеливый... Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям...

15

Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали, – опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.

Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее, – устала царевна, стоявши обедню, и почивает с улыбкой.

– Софья, – чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки – обнять Василия Васильевича за голову, и оттолкнула:

– Ох, отойди... Что ты, грех, чай, в пятницу-то...

Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он – нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью...

– Софья, – сказал он, – внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное...

Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу – поправить венец, и рассеянно скользнула по своему отражению – некрасива, но ведь любит...

– Пойдем.

У косящего окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя – широкоскулый, с глазами-шелками, весь потный, в новой, дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья,

быстро подойдя, по-монашечьи наклонила голову. Иван Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы – ближе подступить мешало ему чрево.

– Матвеев уже в Троице. (Зеленоватые глаза Софьи расширились.) Монахи его, как царя, встречают... Мая двенадцатого ждать его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой... Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских: «Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецких-де копьях хотят во дворец прыгнуть... Только этому-де не бывать... Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, куда так все не сбудется...»

Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги, сказал:

– Сбудется, да не то... Матвеев на Москве не быть...

– А хуже других, – еще торопливее зашептал Милославский, – срамил он и лаял князя Василия Васильевича. «Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы...»

Софья медленно обернулась, встретила глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся, – слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове... За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас... Проглотив волнение, Софья спросила:

– А что говорят стрельцы?

Милославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского:

– Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала... С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть, – у отца с матерью в лаптях ходила... Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а у нее и рубашки не было переменить... А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила. – У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами. – Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша – прямо притча, чудо какое-то – и лицом и повадкой на отца не похож. – Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди... – Я – девка, мне стыдно с вами говорить о государских делах... Но уж – если Наталья Кирилловна крови захотела, – будет ей кровь... Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь...

– Любо, любо слушать такие слова, – проговорил Василий Васильевич. – Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится...

– Кроме Стремяного, все полки за тебя, Софья Алексеевна, – сказал Хованский. – Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно... («Кха», – поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела...) Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь, и кричали: «Любо, любо...» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб правили нами Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем».

– Кричать они горласты, но нам видеть надобно от них великие дела. – Софья вытянулась, изломила брови. – Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева – врагов моих, Нарышкиных – все семья... Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся... Мачеха, мачеха! Чрево проклятое... Вот, возьми... – Софья сразу сорвала с пальцев

все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. – Пошли им... Скажи им: всё им будет, что просят... И жалованье, и земли, и вольности... Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им: пусть кричат меня на царство.

Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы... Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем, – быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидали надменное лицо его...

16

Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье – лучше не надо. Разжирел и Заяц, обленился: «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходить к нему мысли: «А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».

Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придирается, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать – раз он около денег». Оставалось одно средство: застращать мальчишек.

Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину веселые – отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался, – копейки не хватает... Украсили! Где копейка? Взял, с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором: раз по Алексашке, два – по Алешке. Отвозив мальчишек, велел подавать ужин.

– Так-то, – говорил он, набивая рот студнем, с уксусом, с перцем, – за битого нынче двух небитых дают... В люди вас выведу, выюноши, сами потом спасибо скажете.

Ел Заяц щи со свиной, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Растегнул пуговицу на портках:

– Бога будете за меня молить, чада мои дорогие... Я – добрый человек... Ешьте, пейте, – чувствуйте, я ваш отец...

Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:

– От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться, боров.

Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья! Да где же найти такое место на свете, – все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчишки вышли на улицу.

Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах – пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шальные девки, – лентяи работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове – венец из бересты, в косе – ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом...»

Алексашка засмеялся:

– Подождет Заяц нынешней выручки.

– Ай, Алексашка, ведь так – грабеж.

– Дура деревенская... А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали... Эй! Купи, стрелец, с зайчатиной, пара – с жару, – грош цена...

Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами, – народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми, – лезли на навозные кучи – глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы

кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церковенок и соборов. Но беспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца, – в этой майской тишине творилось неладное... Что доподлинно, – еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы – дети боярские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешаны за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.

Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пирогы они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накопело. Жить очертело при таких порядках. Грозил кремлевским башням. Старик посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:

– При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна переплавляла на медный... Бояре кровь народную пили жадно... Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили... И на Низу поднялся великодушный казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато... Не поддержали... Народ слабый, одно – горланить горазд. И ныне без единодушия того, ребята, ждите, – плахи да виселицы, одолеют вас бояре...

Слушали его, разинув рты... И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее – пошатнуть вековую твердыню. Но как?

В другом месте выскакивал стрелец к народу:

– Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву въехал... Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой, – жить еще можно было... Теперь настоящий государь объявился, – он вожжи подтянет... Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали... Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно...

Кружились головы от таких слов. Завтра – поздно... Кровью наливались глаза... Морозом чудился Кремль, лениво отраженный в реке, – седой, запретный, вероломный, полный золота... На стенах у пушек – ни одного пушкаря. Будто – вымер. И высоко – плавающие коршуны над Кремлем...

Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плававшему мосту, – между досок брызнула вода, – цок, цок, – тонконогий конь взмахивал весело гривой.

Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стремях, – кожа двигалась на сизо обритой его голове, длинное длинноносое лицо разгорелось от скачки; задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:

– Толстой... Петр Андреевич... Племянник Милославского... Он за нас... Слушайте, что он скажет...

Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:

– Народ... Стрельцы... Беда... Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили... Не поспеете – они и Петра задушат... Идите скорей в Кремль, а то будет поздно...

Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя – кинулась к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Заскрипел мост, опустился, – бежали по колено в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол – бум, бум, бум, – чаще, тревожнее... Отозвались колокольни, заматались колокола, и все сорок сороков московских забили набат...

В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое...

17

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломились в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни – бить набат, – тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.

Стрельцы, народ, тучи мальчишек (и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, – соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек – ребрастых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки, – блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли, после бога первый...

Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки.

– Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!

Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда», – завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, – взбежали на Красное крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда», – ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!»...

18

– Убьют ведь, убьют... Что делать, Артамон Сергеевич?..

– Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь...

– Артамон Сергеевич, это они, они, враги мои... Языков сам видел, – двое Милославских, переодетые, со стрельцами...

– Твое дело женское – молись, царица...

– Идет, идет! – закричали из сеней.

Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах, глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.

Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат, под чернолисей шапочкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:

– Спаси, спаси, владыко...

– Владыко, дела плохие, – сурово сказал Артамон Сергеевич.

Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пего-серой бородой.

– Заговор, прямой бунт... Сами не знают, что кричат...

Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него – гордое властолюбие... Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал:

– Лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся...

За окнами жгуче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны, – красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин, – говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул:

– Софья пожаловала! – и скрылся за дверь.

За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитя. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.

В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены. Вся – в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царице и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, заморгала глазами, – смолчала.

– Народ гневается, знать, есть за что! – сказала Софья громко. – Ты бы с братьями вышла к народу, царица... Они бог знает что кричат, будто детей убили... Уговори, посули им милости, – того гляди, во дворец ворвутся...

Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней.

– Не время сводить бабьи счеты.

– Тогда выдь ты к ним.

– Смерти не боюсь, Софья Алексеевна...

– Не спорьте, – сказал патриарх, стукнув посохом. – Покажите им детей, Ивана и Петра...

– Нет! – крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. – Владыко, не позволю... Боюсь...

– Вынесите детей на Красное крыльцо, – повторил патриарх.

19

И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.

Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка не отставал от него, хотя было ой как страшно.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

– Кто вам лгал, – стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови. – Кто лгал, что царя и царевича задушили... Глядите, вот царь Петр Алексеевич,

на руках у царицы... Здоров и весел... Вот царевич Иван, – приподнял равнодушного мальчика и показал толпе. – Оба живы Божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет...») Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо, – есть какие просьбы и жалобы, – присылайте челобитчиков.

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмирившей толпы раздались злые голоса:

- Ну что ж, что они живы...
- Сами видим, что живы...
- Все равно не уйдем из Кремля...
- Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова...
- А потом ноздри рвать у приказной избы...
- Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных...
- Ивана Кирилловича Нарышкина... Он царский венец примерял...
- Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте... Долгорукова...

Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой, – чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка, чистый кот». С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:

- Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Сарынь! Прочь отсюда, псы, холопы...

Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой... Но не те времена, – не так надо было разговаривать... Задышали, засопели, потянулись к нему:

- А с колокольни ты не летал? Ты кто нам, щенок? Бей его, ребята!..

Взяли его за перевязь, сорвали, в клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты выскочили Овсей Ржов с товарищами.

- Бей Матвеева! – закричали они.
- Любо, любо! – заревела толпа.

Овсей Ржов надел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекошилось, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева...

- Оттаскивай, не бойся, рви его! – кричали стрельцы, подняв копья. – Кидай нам!

Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копья.

Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:

– Хотим Ивана царем... Обоих... Хотим Софью... Любо, любо... Софью хотим на царство... Столб хотим на Красной площади, памятный столб, – чтоб воля наша была вечная...

Глава вторая

1

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других – похуже родом. Получили стрелецкое жалованье – двести сорок тысяч рублѣв, и еще по десяти сверх того рублѣв каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылатъ.

Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские – по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки – нищета, холопство, бездолье.

Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов был на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля; урожай сам-три – слава тебе, господи. Кричали даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? – шуба на соболях да шапка горлатная – вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился Богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ. А их обути, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву, – нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади, холоп сидел верхом, позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь – выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, – иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго.

Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой – гол. За границу не повезешь, – не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях, – голову бы разбил с досады. Что за Россия заклятая страна, – когда же ты с места сдвинешься?

В Москве стало два царя – Иван и Петр, и выше их – правительница, царица Софья. Одних бояр променяли на других. Вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно?

Старики рассказывали, – хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!..

В стрелецкой слободе объявилось шесть человек раскольников – начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение, – говорили они стрельцам, – одно ваше спасение скинуть патриарха-никонианина и весь боярский синклит, ониконианившийся и ополчавшийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соло-

вещкие тетради – о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник, Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по соловецкой тетради:

«Я, братия моя, видал антихриста, право, видал... Некогда я, печален бывши, помышляючи, как придет антихрист, молитвы говорил, да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан – ведут нагого человека, – плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольнічи, и думные дворяне... И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно... Знаю по писанию – скоро ему быть. Выблядков его уже много, бешеных собак...»

Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в Грановитую палату аналой, деревянные кресты и книги и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного крыльца кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора государыне царевне в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:

– Хотите променять нас на шестерых чернецов – мужиков – невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене...

Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, – испугались: «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?...» Попятились! Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.

Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, – бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подъячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осажать боярские дворы, едва бояре отстреливались, – великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение, – разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибыв на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: «Лгут на нас, и в мыслях того ополчения не было, крест на том целую, – закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперсный крест, – то лжет на нас Матвейка-царевич». И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку: подавиться!

Матвейку разорвали на мелкие клочья, – насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем... Три дня и три ночи бушевала Москва, вороны стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны, – ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.

Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не кликнуть ли его царем, – человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа.

Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч, ополчение сходилась к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени – в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня, – давно бы в Москве по колена в крови ходили...» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топчя кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову.

Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки, сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.

Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником стрелецкого приказа назначили Шакловитого, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

2

В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меншиков. Не плетъ на этот раз была в руке у него, – сверкал кривой нож. «Остановись! – вскрикивал Данила страшным голосом. – Убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево.

Больше года Алексашка не видел отца, и вот – встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали – поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу.

Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Язу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно – в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые

кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, – теперь зарос листвой, приходил в запустение.

У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, – должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:

– Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывем, – мы тебя...

Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:

– Ты кто, чей? Мальчик...

– А вот велю тебе голову отрубить, – проговорил мальчик глуховатым голосом, – тогда узнаешь.

Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:

– Что ты, ведь это царь, – и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство.

– погоди, убежим, успеем. – Закинул, удочку, смеясь стал глядеть на мальчика. – Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего ты сидишь? Тебя ищут...

– Сижу, от баб прячусь.

– Я смотрю, – ты не наш ли царь. А?

Мальчик ответил не сразу, – видимо, удивился, что говорят смело.

– Ну – царь. А тебе что?

– Как что... А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесешь – одну хитрость тебе покажу. – Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. – Гляди – игла али нет? Хочешь – иглу сквозь щеку проташу с ниткой, и ничего не будет...

– Врешь? – спросил Петр.

– Вот перекрещусь. А хочешь – ногой перекрещусь? – Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился.

Петр удивился еще больше.

– Еще бы тебе царь бегал за пряниками, – ворчливо сказал он. – А за деньги иглу проташешь?

– За серебряную деньгу три раза проташу, и ничего не будет.

– Врешь? – Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.

Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость – три раза проташил сквозь щеку иглу с черной ниткой, – и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.

– Дай-ка иглу, – сказал нетерпеливо.

– А ты что же – деньги-то?

– На!..

Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, проташил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: «Не хуже тебя, не хуже тебя!» Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, – должно быть, учить бояр протаскивать иголки.

Рубль был новенький, – на одной стороне – двуглавый орел, на другой – правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.

– Пустяками занимается, – говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.

В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, – все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый, на морозе, – будто немой, параличный, – много выжалывал денег. Бога гневить нечего, – зиму прожили неплохо.

И опять – просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем – шататься по базарам, вечером – в рощу – ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И неожиданно-негаданно – наскочил...

Всю старую Басманную пробежал Алексашка, – начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, – слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну – конец! «Карауууул!» – пискливо закричал Алексашка...

В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.

Алексашка отдыхивался, сидя на запятках, – надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, – с длинными кудрями, но лицо – бритое. «Франц Лефорт», – ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в Немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.

«Мать честная, вот живут чисто», – подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, – по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плоски, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему – кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками.

Повсюду ходили мушкетеры, – в Кремле суровые и молчаливые, здесь – в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали – без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, – глаза впору протереть...

Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озера била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.

– Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? – спросил он, смешно выговаривая слова. – Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты вор?

– Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. – Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. – Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом?

– А! Да, видел... Я засмеялся: большой за маленьким...

– Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу... Дяденька...

– На службу? А что ты умеешь делать?

– Все умею... Первое – петь, какие хошь, песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, – сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать – на заре начну, на заре кончу, и не вспотею... Что мне скажешь, то и могу...

Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.

– О, ты изрядный мальчик... Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный... И тогда я тебе дам платье... Ты будешь служить... Но если будешь воровать...

– Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть али нет, – сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.

3

– Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела...

Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов, по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, – и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понесли его косолапые шаги, пугая прижильных старух в темных углах Преображенского дворца.

– Шапку-то, шапку, головку напечет! – слабо крикнула вслед царица.

Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, – расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи, – воротник сзади торчал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек – и говорить нечего. Скажи ему: кинься, Никита, на нож, – кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.

– Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож... Ведь не оглянешься, – скоро уж женить... До сих пор не научился стопами шествовать, – все бегаёт, как простой... Ну – вон, гляди...

Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним – долговязые парни из дворцовой челяди, – с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу, – потешной крепостце, построенной перед дворцом, – за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприпрыжку царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные, круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.

– Не по его – так и убьет, – проговорила Наталья Кирилловна. – В кого только нрав у него горячий?

Игра пошла сызнова. Выстраивая долгоязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке.

– Что-то головка стала у него так дергаться? – сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши.

Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали – чем помягче: пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки – в знак того, что сдаются.

– Нельзя сдаваться! Биться должны! – кричал Петр, крутя и тряся головой. – Сначала! Все сначала!..

– Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась, – проговорила царица.

Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием... Не стряслось бы и здесь такой же беды... Правительница Софья сидит и видит – обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.

В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегают на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи – мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет, – старушечка едва без памяти поползет до угла.

Бояре в Преображенском не бывают, – здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четверем боярам: князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут и – молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр, – бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье, и опять вздыхают, качают головами: уж больно прыток становится царь-то, – гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично.

– Никита Моисеевич, сказывали мне – в Мытищах баба есть, Воробыха, на квасной гуще гадает – так-то верно, – все исполняется... – проговорила царица. – Послать бы за ней!.. Да что-то боюсь... Не нагадала бы худого...

– Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробыха? – нараспев, приятным гласом ответил Зотов. – В таком разе Воробыху в ключья растерзать мало.

Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках.

– Моисеич... Давеча в поварне, – стрелецкая вдова решето ягод приносила, – сказывала: Софья-де во дворце кричала наемни, и все слышали: «Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей...»

У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.

Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи – стрелецкие полки, за Софью – все дворянское ополчение, а у Петра – три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная репой... Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник...

– Пошли за Воробыхой, – прошептала царица. – Пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее...

Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе – игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.

Бывало, при Алексее Михайловиче, – смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь – охота или медвежья травля, конские гонки. А теперь – глядишь – и дорога-то сюда от каменных ворот заросла травой. Прошла жизнь. Сиди – перебирай четки.

В стекло чем-то бросили, Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой, – весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок:

– Никита, напиши указ... Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые... Скорее!

– О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? – спросил Никита.

– Нужно мне сто мужиков добрых, молодых... Скорее...

– А написать для чего мужики сии надобны?

– Для воинской потехи... Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним. Да две чугунных пушки, чтобы стрелять. Скорей, скорей... Я подпишу, пошлем нарочного... – Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко: – Петенька, свет мой, будет тебе все воевать... Отдохнул бы, посиди около меня...

– Маманя, некогда, маманя, потом...

Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь, с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец...»

Царица от скуки взяла почитать Петрушкину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь – в чернильных пятнах, написано – вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции... Долгу много, а денех у мена меньше тово долгу, и надобает вычесть – много ли езчо платить. И то ставися так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже ево единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией – число, кое получится, или смекальное число...»

Царица зевнула – не то есть хочется, не то еще чего-то...

– Никита Моисеевич, забыла я – полдничали сегодня мы али нет?

– Государыня матушка, Наталья Кирилловна. – Зотов, отложив перо, встал и поклонился. – Как отобедали изволили вы почивать и, встав, полдничали. Подавали вам ягоды с усливками, грушевый взвар и мед монастырский...

– И то... Уж вечернюю скоро стоять...

Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там при свете лампад (окно было занавешено) у стены на покрытых сундуках сидели злующие старухи-приживалки и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные – без костей, поклонились царице. Она села под образами на веницейский с высокою спинкою стул. Из-за кровати выползла карлица с гноющимися глазами, по-ребячьи всхлипывая, прикорнула у государыниных ножек, – приживалки ее чем-то обидели.

– Сны, что ли, рассказывайте, дуры бабы, – сказала Наталья Кирилловна. – Единорога никто не видел?

Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях, на лестницах появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных, – стольники, приписанные Софьей к Петрову дворцу. Был здесь и Василий Волков, – отец его

расшиб лоб о пороги, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое, жалованье – шестьдесят рублей в год. Но – скучно. Стольники спали почитай что круглые сутки.

Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистее. Обшарили, обаукали всю местность, – нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно это ее рук дело – Соньки... Давеча какой-то человек ходил круг дворца... И нож у него видели за голенищем... Зарезали, зарезали нашего батюшку-кормильца...» Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным Сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны; заломив руки, она закричала:

– Петенька, сын мой!

Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбацкий костер, – рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:

– Мужики, царя не видали?

– Давеча не он ли проплыл в лодке?... Кажись, гребли прямо на Кукуй. У немцев его ищите...

Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, лапами короткого кафтана. В одной руке – на отлете – он держал шляпу, в другой – трость и, смеясь вольно, – собачий сын, – говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь. И все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени.

– Милостивый государь, царица матушка убивается: уж бог знает что про вас думали. Извольте идти домой – вечерню стоять...

Петр нетерпеливо дернул головой вбок – к плечу.

– Не хочу... Убирайся отсюда... – И, так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся, ударил его ногой. – Прочь пошел, холоп!

Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком – в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях – виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.

– Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее...

Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками:

– О да, у нас веселее...

И ближе придвинулись – слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике – Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе: плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С Кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки.

На берегу, на куче мусора появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями, – капитан Франц Лефорт. Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся вбок левую

руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился, – завитые космы парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски:

– К услугам вашего царского величества...

Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо, – до того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями:

– Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет просо, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегают собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик с двенадцатью кавалерами и дамами на крышке и также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют по-соловьиному и трясут хвостами и крыльями, хотя все сие не что иное, как прехитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту, – лицо поперек полторы четверти, тело – в шерсти, на руках, ногах – по два пальца.

У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. Но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он вылезет на берег, – длиннорукий, длинный, – Лефорт засмеется над ним. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде, – веселый, красивый, добродушный, – схватил исцарапанную, с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.

– О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество... Они покажут вам весьма забавные кундштюки...

Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь окружили их сытые, краснощекие, добрые кукуйцы, и каждый захотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород с песчаными дорожками, подстриженными кустиками и ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт.

Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?...» Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально...» Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидел маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами, в голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился, – даже стало страшно отчего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятного впечатления у Петра дико забилося сердце. Лефорт сказал ему:

– Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса.

Сам Иоганн Монс, с трубкой, весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал:

– Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы и фейерверк, или огненная забава...

По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы – идти домой. На этот раз пришлось покориться.

4

Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что, не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму, царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоех что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи... Спорили и лаялись о ценах. Вздыхали – что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха, обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море – татары, к Балтийскому не пробьешься, Китай далеко, на севере все держат англичане. Воевать бы моря, да не под силу.

К тому же мало поворотливы были русские люди. Жили по-медвежьи за крепкими воротами, за неперелазным тыном в усадьбах на Москве. В день отстаивали три службы. Четыре раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного: боярину – ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу – сидеть у лавки, зазывать прохожих, приказному дьяку – сопеть над грамотами.

Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное – подвалило счастье. Польский король Ян Собеский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили поляки, что нельзя же допустить, чтоб поганые турки мучили христиан, и православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго и самое время с ними торговаться. Так и было: Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок, с севера ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная Тридцатилетняя война, когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдела Германия и Польша стала чуть ли не шведской вотчиной. Хозяевами морей оказались французы, голландцы, турки, а по всему балтийскому побережью – шведы. Ясно было, чего сейчас добивались поляки: чтоб охранять русскими войсками украинские степи от турецкого султана.

Царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатель и наместник новгородский, князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками, тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили поляки: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на своем, прочли полякам все летописи с начала крещения Руси. И пересидели, переспорили.

Ян Собеский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда, – приходилось собирать войско, идти воевать хана.

5

Напротив Охотного ряда, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели, от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера – швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа, шатающегося по Охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах, карету, запряженную рыжей четверней, на медно сияющий дом оберегателя, любовника царевны-правительницы.

Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика Четырнадцатого.

дцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском – в чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами, – на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны, или – по-новому – портреты, князей Голицыных и в пышной венецийской раме – изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские – шпалерные и итальянские – парчовые кресла, пестрые ковры, несколько стенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке – расписанная золотом, серебром и лазурью небесная сфера – отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями.

Гость с одобрителем любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад):

– Поясню вам, господин де Невилль. Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь – крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо...

– Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер, – проговорил де Невилль. – Но как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу?

Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...»

– Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить, – проговорил он и стал читать из тетради: – «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать заводить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял, разве – небольшое число дворовых холопей...»

– Господин канцлер! – воскликнул де Невилль. – История не знает примеров, чтобы правитель замышлял столь великие и решительные планы. (Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и матовые щеки его порозовели.) Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов?

– Взамен земли помещики получают жалованье. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устраним. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получают не земельную разверстку и души, а увеличенное жалованье, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства...

– Мнится – слышу философа древности, – прошептал де Невилль.

– Дворянских детей, недорослей, дабы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусствами. Населим трудолюбивым крестьянством пустыни наши. Дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши – в каменные палаты. Трусы сделаются храбрецами. Мы обогатим нищих. (Василий Васильевич покосился на окно, где по улице брел пыльный столб, поднимая

пух и солому.) Камнями замостим улицы. Москву выстроим из камня и кирпича... Мудрость воссияет над бедной страной.

Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло, и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю:

– Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений – коснулся главы помазанника... Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, мы силой переломим их древнее упрямство...

Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невилль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, так же кланяясь и округло, от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич.

– Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин де Невилль, что вы изволите так скоро покидать меня.

Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там на двуспальной кровати под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно в закрытой карете с черного хода.

6

– Сонюшка, здравствуй, свет мой...

Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.

– Беда какая-нибудь? – государыня...

Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее, с сильными мускулами с боков рта, не играло уже прежним румянцем, – заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия – любовник – нашлось иноземное приличное слово – галант, – все же отравно, нехорошо было, – без закона, не венчанной, не крученной, – отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она... Люди заставили травить плод... Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке, – с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло, – ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод... А ему – хоть бы что: утерся, да и в сторону...

Сидя в кровати, – широкая, с недостающими до полу ногами, горячо влажная под тяжелым платьем, – Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.

– Смешно вырядился, – проговорила она, – что же это на тебе – французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье... Смеяться будут... (Она отвернулась, подавила вздох.) Да, беда, беда, батюшка мой... Радоваться нам мало чему...

За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем.

– Пустое, государыня, – сказал Василий Васильевич, – мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось...

– Бросить? – Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись. – А знаешь, о чем в Москве говорят! Править, мол, царством мы слабы... Великих делов от нас не видно...

Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него: ох, красив, ох, мука моя... Да – слаб, жилы – женские... В кружева вырядился...

– Так-то, батюшка мой... Книги ты читать горазд и писать горазд, мысли светлые, – знаю сама... А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков, – подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись.

Как девушка, вспыхнул Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами.

– Не для их ума писано!

– Да уж какие ни на есть, – умнее слуг нам не дадено... Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же... Ничего не могу, – скажут: еретичка. Патриарх и так уж мне руку сует как лопату.

– Живем среди монстров, – прошептал Василий Васильевич.

– Вот что тебе скажу, батюшка... Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку... Покажи великие дела...

– Что?.. Опять разве были разговоры про хана?

– У всех одно сейчас на уме – воевать Крым. Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, тогда делай что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.

– Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги...

– Иное будет после Крыма, – твердо проговорила Софья. – Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой. Вернешься победителем, – кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда. Верю, верю – Бог нам поможет против хана. – Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза. – Вася, я тебе боялась сказать... Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол, сильный царь подрастает. А царевна, мол, только зря трет спиной горностай...» Ты мои думы пожалей... Я нехорошее думаю. – Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку. – Ему уж пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ – вербовать всех конюхов и сокольничих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа... Вася, спаси меня от греха... В уши мне бормочут, бормочут про Димитрия, про Углич... Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах... То в старину было... Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть балуется...

– Нельзя нам воевать! – с горечью воскликнул Василий Васильевич. – Войска доброго нет, денег нет. Великие прожекты! – эх, всё попусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны...

Он безнадежно махнул кружевной манжетой. Говорить, убеждать, сопротивляться – всё равно – было без пользы.

7

Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: «Да беги же ты за ним, да найди ты его, – со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куса во рту не было...»

Найти Петра не так-то было просто, – разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой, – значит, там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен,

привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами – идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж, бывало, сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне сокрушенный, он разводил руками:

– Силов нет, матушка государыня, не идет сокол-то наш...

Играть Петр был горазд – мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б шумно, весело, потешно, – стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничьих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкапываются какие-то в зеленых кафтанах, видом – не русские, и бум-тарарах – бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном выюноше – самого царя.

Служба в потешном войске была тяжелая – ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный, – взбредет царю – иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку...» Некоторые и тонули в речках по ночному времени.

За леность или за нети, – если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой, – таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или – по-новому – генерала, – Автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским.

Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, – так как был занят по службе в Кремле, – но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалованье иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бомбами, – учили строго: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.

8

Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке, – среди подстриженных деревьев, – они похлопывали ладонями по столикам:

– Эй, Монс, кружечку пива!

Монс, в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по пяти глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой – шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии, или Бадене, или Вюртемберге, – но жить можно неплохо и под русскими звездами.

– Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.

Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:

– Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюрнберге...

– О да, мы все знаем твой прекрасный ящик, – подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.

– Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать... В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня: «Где твой ящик?» Я ответил: «Вот он, ваше помазанное величество». Тогда царь сказал: «Иоганн, не зови меня ваше помазанное величество, мне это надоело дома, но зови меня, как будто я твой друг». И Лефорт сказал: «О да, Монс, мы все будем звать его – герр Петер». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня – и я сказал: «Ничего, заводи». И она завела его, – кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Петер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен – очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петеру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую, – мое бедное сердце, наверное, после этого будет сломано...» Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Петер не смеялся, – он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах...

Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец, Гаррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:

– Я вижу, – если с умом взяться за дело, – из молодого царя можно извлечь много пользы. Старый Людвиг Пфефер, часовщик, ответил ему:

– О нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы... Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она – жестокая и решительная женщина... Теперь она собирает двести тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и десяти пфеннигов...

– Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфефер, – ответил ему Монс, – не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто – Зоммер... (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке.) Не раз он мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет два батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать...» Вот что сказал Зоммер...

– О, это хорошо, – проговорили собеседники и значительно переглянулись.

Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.

9

В сводчатых палатах Дворцового приказа – жара, духота, – топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах – мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Писец, Иван Васков, перебеливает с листа в книгу.

«... по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота, – плачено один рубль, 13 алтын, 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да

к исподнему кафтану – 6 дюжин пуговиц по 2 алтына, 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы – три рубля...»

Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки.

– Слышь, Петруха, а «волосы накладные» как писать – с прописной буквы али с малой?

Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил:

– Пиши с малой.

– Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?

– А ты – смотри – за такие слова...

Нагнув голову влево, чтобы ловчее писать, Васков тихо закинул от смеха, – уж очень чудно казалось ему, что государю в немецкой слободе от немцев покупают волосы, платят три рубля за такую дрянь.

– Петруха, куда же он эти волосы навесит?

– На это его государева воля, – куда захочет, туда и навесит. А будешь еще спрашивать, дьяку пожалуюсь...

Дьяка тоже одолели мухи. Вынув шелковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду.

– Э-эй, спите! – лениво прикрикнул он. – Разве вы писцы, разве вы подьячие? Все бы вам даром жрать казенные деньги. Страху нет на вас, Бога забыли, шпыни ненадобные... Вот выдеру весь приказ батогами, – будете знать, как работать с бережением... И чернил на вас не напасешься, и бумаги прорва... Гром вас порази, племя иродово...

Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное настало время – ни челобитчиков, ни даров. Москва опустела, – стрельцы, дети боярские, помещики, все ушли в поход, в Крым. Только – мухи да пыль, да мелкие казенные дела.

– Петруха, квасу бы сейчас выпить! – проговорил Васков и, оглянувшись на дьяка, потянулся, вывернулся, так что гнилой кафтанец треснул у него под мышками. – Вечером пойду к одной вдове, вот напьюсь квасу. – Мотнув башкой, он опять принялся писать:

«... по указу в. г. ц. и в. к. Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Р. самодержца велено прислать в село Коломенское к нему в. г. ц. и в. к. всея В. и М. и Б. Р. самодержцу стряпчих конюхов – Якима Воронина, Сергея Бухвостова, Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Иевлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова. Упомянутых стряпчих конюхов велено взять наверх в потешные пушкари и учинить им оклады – денег по пяти рублей человеку, хлеба по пяти четвертей ржи, овса тож...»

– Петруха, вот людям счастье...

– Кто еще разговаривает, э-эй, кобели стоялые, – в полусне пригрозил дьяк.

10

Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и с бережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое, примерил, – тесно! – хотел ножницами резать свои темные кудри, – Волков едва умолил этого не делать, – все-таки добился – напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, дивился: не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового, Степку Медведя, рослого парня, чтобы разбить башмаки, – Степка, вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как жеребец. В девять часов (по новому счету времени) пришел Никита Зотов – звать к ранней обедне. Петр ответил нетерпеливо:

– Скажи матушке, – у меня-де государственное дело неотложное... Один помолюсь. Да – вот что – сам-то возвращайся, да рысью, слышь...

Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе. Но – кротко покорился, убежал в мягких сапожках и скоро вернулся, сам зная, что – себе на горе. Так и вышло. Петр, вращая глазами, приказал ему:

– Поедешь великим послом от еллинского бога Бахуса – бить челом имениннику.

– Слушаю, государь Петр Алексеевич, – истово ответил Зотов. Тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову – мочалу, поверх венка из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила четырех здоровенных кабанов. Петр кинулся помогать, кричал, дрался, суетился. Кабанов поймали, на лежащих надели шлеи, впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах (жениховский подарок покойного Алексея Михайловича; ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза). Конюшенный дьяк с трясущимися губами глядел на такое разорение и бесчинство. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы, Волков, при шпаге и в треугольной шляпе, пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами. Поехали на Кукуй.

У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело, – закричали они, хлопая в ладоши, – можно лопнуть от смеха». Петр, красный, с сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода. Хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете – полумертвого от страха Зотова. Свиньи дергали в разные стороны, спутали сбрую. Внезапно Петр вырвал у конюха кнут и бешено застегал по свиньям. Завизжав, они понесли карету... Кого-то сбили с ног, кто-то попал под колеса, женщины хватали детей. Петр, стоя, все стегал, – багровый, с раздутыми ноздрями короткого носа. Круглые глаза его были красны, будто он сдерживал слезы.

У Лефортова двора конюха кое-как сбили свиную упряжку, своротили в раскрытые ворота. По двору бежал именинник – Лефорт, махая тростью и шляпой. За ним – пестро разодетые гости. Петр неуклюже соскочил с козел и за воротник вытащил из кареты Зотова. Все еще бешено глядя в глаза Лефорту, будто боясь увидеть в толпе кого-то, – проговорил задыхающимся голосом:

– Мейн либер генерал, привез великого посла с великим виватом от еллинского бога Бахуса... – Крупный пот выступил на лице его, облизнул губы и все еще глядя в глаза, с трудом: – Мит херцлихен грус... Сиречь, бьет челом... Свиней и карету в подарок шлет... – Все еще судорожно держа Зотова, шепотом: – Вались на колени, кланяйся...

Прекрасный, в розовом бархате, в кружевах, напудренный и надушенный Лефорт все сразу понял... Подняв высоко руки, захопал в ладоши, залился веселым смехом и, поворачиваясь то к Петру, то к гостям, сказал:

– Вот прекрасная шутка, – веселее шутки не приходилось видеть... Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить... Эй, музыканты, марш в честь бахусова посла...

За кустами сирени ударили в барабаны и литавры, заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхен, – она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья.

Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей, рядом с Лефортом, к дому, по-журавлиному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, высо-

чил и с приговором: «Ай, дуду-дуду-дуду», – пошел вприсядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся юлой: «И – эх – ты!»

– Ай да Алексашка!

11

Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные менуэты, веселые англесы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори, румяные красавицы с пышными, как бочки, фижмами и тяжелыми шлёпами, хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему, жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали гости, протягивая к нему стаканы... У Анхен лукаво сверкали зубы, она не сводила с него прельстительных глаз...

Пир все тянулся, будто день никогда не кончится. Часовщик Пфефер сунул длинный, как морковь, нос в табакерку и принялся чихать, сорвав с себя парик, взмахивал им над лысым черепом. Умора, как это было смешно! Петр раскачивался, опрокидывая длинными руками посуду вокруг себя. Руки до того казались длинными, – стоит потянуться через стол, и можно запустить пальцы в волосы Анхен, сжать ее голову, губами испытать ее смеющийся рот... И опять у него раздувалась шея, тьма застилала глаза.

Когда солнце склонилось за мельницы и в раскрытые окна повеяло прохладой, Лефорт подал руку восьмипудовой мельничихе, фрау Шимельпфениг, и пошел с нею в менуэте. Округло поводя рукой, он встряхивал обсыпанными золотой пудрой локонами, приседал и кланялся, томно закатывая глаза. Фрау Шимельпфениг, удовлетворенная и счастливая, плыла в огромных юбках, как сорокапушечный корабль, разукрашенный флагами.

За этой парой двинулись все гости из залы в огород, где в клумбах были выведены цветами вензеля именинника, кусты и деревца перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги и дорожки разделены шахматными квадратами...

После менуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, нет, не могу...» Тогда фрау Шимельпфениг, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет, – это означало, что его выбирали в короли танцев. Отказаться было нельзя. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы, веселая музыка понеслась в вечеряющее небо, пугая летучих мышей.

И опять, как давеча со свиньями, у него все сорвалось, стало жарко, безумно. Лефорт кричал:

– Фигура первая! Дамы наступают и отступают, кавалеры крутят дам!

Схватив фрау Шимельпфениг за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлёп и фижмы закрутились вихрем. «Ох, мейн готт!» – только ахнула мельничиха. Оставив ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями, он выделял такие скачки и прыжки, что гости хватались за животы, глядя на него.

– Третья фигура, – кричал Лефорт, – дамы меняют кавалеров!

Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло. Он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между

деревьями перебегали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Серdito шипя, взвилась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен.

– Ах, – шепнула она тоненьким голосом. – Ах, это чудно, красиво!.. Ах, Петер, вы прекрасно танцуете...

Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки, лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся дебошан Лефорт. «Купидон стрелами пронзает сердца!» – крикнул он Петру. От разгоряченной от танцев Анхен пахло свежей прелестью. «Ах, Петер, я устала», – еще тоньше простонала она, повисая на его руке. Над головами разорвался швермер, огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук. С бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхен исчезла. Из облака дыма вылезла заячья шуба и мочальная голова бахусова посла. Вконец пьяный, Никита Зотов, все еще с чашей в руке, брел, бормоча всякую чушь... Остановился, зашатался.

– Сынок, выпей, – и подал Петру чашу. – Пей, все равно пропали мы с тобой... Душу погубили, оскоромились. Пей до дна, твое царское величество, всея Великия и Малыя...

Он хотел погрозить кому-то и повалился в куст. Петр бросил выпитую чашу. Радость крутилась в нем фейерверочным колесом.

– Анхен! – крикнул он. Побежал...

Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.

– Идем, я покажу, где она, – проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубаше, Алексашка Меншиков с пронзительными глазами. – Девка домой пошла...

Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко. Алексашка – шепотом:

– Она там. – И бросил в стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен, – на плечах платок, вся голова в рожках из бумаги.

– Кто там? – спросила тоненько, вгляделась, увидела Петра, затрясла головой: – Нельзя... Идите спать, герр Петер...

Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.

– Сторожится девка, – прошептал Алексашка. Вгляделся и, крепко обняв Петра за плечи, повел к лавке. – Ты сядь-ка лучше... Я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?

Когда он вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени. Алексашка заглянул ему в лицо:

– Ты выпил, что ли?

Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. Над лугами стелился туман. Пышно раскинулись осенние звезды. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.

– Держи меня, держи крепче, – хрипавато проговорил он. Через небольшое время руки его ослабли. Вдохнул со стоном: – Поедем... Не уходи только... Ляжем вместе...

У крыльца подскочил Волков.

– Государь! Да, господи... А мы-то...

Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пхнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В темном переходе закрестилась, зашуршала старушонка, – он толкнул ее. Другая, как крыса, шмыгнула под лестницу.

– Постылые, шептуньи, чтоб вас разорвало, – бормотал он.

В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу. Помолчав, сказал:

– Быть тебе постельничим... Утром скажешь дьяку, – указ напишет... Весело было, ах, весело... Мейн либер готт.

Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.

Глава третья

1

Всю зиму собиралось дворянское ополчение. Трудно было доставить помещиков из деревенской глуши. Большой воевода Василий Васильевич Голицын рассылал грозные указы, грозил опалой и разорением. Помещики не торопились слезать с теплых печей: «Эка взбрело – воевать Крым. Слава богу, у нас с ханом вечный мир, дань платим не обидную, чего же зря дворян беспокоить. То дело Голицыных, – на чужом горбе хотят чести добыть...» Ссылались на немочи, на скудость, сказывались в нетях. Иные озорничали, – от скуки и безделья в зимнюю пору всякое взбредет в голову. Стольники Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, невмочь уклониться от похода, одели ратников в черное платье и сами на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие, прибыли к войску, – напугали всех до полусмерти. «Быть беде, – заговорили в полках, – живыми не вернуться из похода...»

Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Федору Леонтьевичу Шакловитому, поставленному им возле Софьи: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтоб их за это воровство разорить, в старцы сослать навечно, деревни их неимущим раздать, – учинить бы им строгости такой образец, чтоб все задрожали...»

Указ заготовили, но по доброте Василий Васильевич простил озорников, со слезами проливших милости. Не успели замаять это дело, – пошел слух по войску, что ночью-де к избе князя Голицына, в сени, подкинули гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. Василий Васильевич, говорят, в тот день напился пьян и кидался в темные сени и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе полковой козел, – многие слышали, – закричал человеческим голосом: «Быть беде». Козла хотели забить кольями, он порскнул в степь.

Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозники по берегам рек и озер. Василий Васильевич ходил мрачнее тучи. Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил Алегучкович Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо, – над крымским походом смеются: «Крымский-де хан и ждать перестал Василия Васильевича в Крыму, в Цареграде, да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого-де Голицыны обходятся царской казне...» Даже патриарх Иоаким, бывший предстатель за Василия Васильевича, ни с того ни с сего выкинул из церкви на Барахах ризы и кафтаны, подаренные Голицыным, и служить в них запретил. Василий Васильевич писал Шакловитому тревожные письма о том, чтобы недреманным оком смотрел за Черкасским, да смотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софьи... «А что до бояр, – то извечно их древняя корысть заела, на великое дело им жаль гроша от себя оторвать...»

Скучные вести доходили из-за границы. Французский король, у которого великие послы, Яков Долгорукий и Яков Мышецкий, просили займы три миллиона ливров, денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про голландского посла Ушакова, что «он и люди его вконец заворовались, во многих местах они пировали и пили и многие простые слова говорили, отчего царским величествам произошло бесчестие...»

В конце мая Голицын выступил наконец со сотысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки, и сторожи вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По далекому краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки – желты, зелены.

Скрипом телег, ржаньем лошадей полнилась степь. Вековой тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста – ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо – татары заманивали русские полчища в пески и безводье. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где доставать воду.

Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено. Много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север к Днепру. Полки роптали...

Воеводы, полковники, тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра Голицына, с тревогой глядели на повисшее знамя. Но никто не решался пойти и сказать: «Уходить надо назад, покуда не поздно. Чем дальше – тем страшнее, за Перекопом – мертвые пески».

Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре, сняв платье, разувшись, лежа на коврах, читал по-латыни Плутарха. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукулл, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами. – К славе, к славе! Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи: «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Поддай тебе, господи, враги побеждать. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься... Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего... Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась: будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей! всегда прошу, чтоб света моего в радости видеть. По сем здравствуй, свет мой, навеки неисчетные...»

Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и епанчу, выходил из шатра. Завидев его, полковники, тысяцкие, есаулы садились на коней. Играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя.

Так было и сегодня. С высоты кургана Василий Васильевич окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся во мгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня, пыльный вал стоял кругом окоема. В безветрии тяжело дышалось. Закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь... Солнце, садясь, распухало, мглистое, страшное... Едва замерцали звезды, – затянуло их пеленой. Разгораясь, мерцало дымное зарево. Поднимался душный ветер. Яснее были видны пляшущие языки пламени, – они опоясали кольцом все войско...

У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскочил к шатру. Слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича.

– Беда, князь, – сказал он негромко, – татары степь подожгли...

Под висячими усами гетмана не видна была усмешка, тень падала на глаза...

– Кругом горит, – сказал он, показав нагайкой.

Василий Васильевич долго всматривался в зарево.

– Что ж, – посадим пеших на коней, перейдем через огонь.

– А как идти по пеплу? Ни корма, ни воды. Погибнем, князь.

– Мне отступить?

– Делай как знаешь... Казаки не пойдут через горелую степь.

– Плетями гнать через огонь!.. (Василий Васильевич несдержан был в гневе. Забегал по кургану, вонзая в сухую землю железные каблучки.) Давно вижу, – казаки не с охотой идут с нами... Смешно глядеть – в седлах дремлют. Крымскому хану небось бодрей служили... И ты кривишь душой, гетман... Поберегись... На Москве и не таких за чуб на плаху волокли... А ты – попович – давно ли свечами, рыбой торговал?

Тучный Самойлович дышал, как бык, слушая эти обиды. Но был умен и хитер, – промолчал. Сопя, взлез на коня, съехал с кургана, пропал за телегами. Василий Васильевич крикнул трубача. Хрипло запели трубы по дымной степи. Конница, пешие войска, обозы двинулись через огонь.

На заре стало видно, что идти дальше нельзя, – степь лежала черная, мертвая. Только, завиваясь, бродили по ней столбы. Усиливался ветер с юга, погнал тучами золу. Видно было, как вдали первыми повернули назад казачьи разъезды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый подъехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перстнях на латы, сказал, смиряя гордость, со слезами:

– Кто пойдет против руки господней? Сказано: человек, смири гордыню, ибо смертен есть. Господь послал нам великое несчастье... На сотни верст – ни корма, ни воды. Не боюсь смерти, но боюсь сраму. Воеводы, подумайте, приговорите – что делать?

Воеводы, полковники, атаманы, подумав, ответили:

– Отступить к Днепру, не мешкая.

Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы, и остановились только близ Полтавы.

2

Полковники Солонина, Лизогуб, Забела, Гамалей, есаул Иван Мазепа и генеральный писарь Кочубей, тайно придя в шатер Василия Васильевича, сказали ему:

– Степь жгли казаки, жечь степь посылал гетман. И вот тебе на гетмана донос, прочти и пошли в Москву, не медли, потому что нам не под силу терпеть его своеволие: разбогател, шляхетство разорил, старшине казацкой при нем нельзя в шапках стоять. Всех лает. Русским врет, с поляками сносится и им врет, а хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусть из Москвы пришлют указ – выбирать нам другого гетмана, а Самойловича ссадить...

– А для чего гетману не хотеть, чтоб я побил татар? – спросил Василий Васильевич.

– А для того ему не хотеть, – ответил есаул Иван Мазепа, – что, покуда татары сильны, – мы слабы, а побьете татар, скоро и Украина станет московской вотчиной... Да то все враки... Мы вам, русским, младшие братья, одной с вами веры, и все рады жить под московским царем...

– Добро сказано, – устываясь в землю, подтвердили сизоголовые, чубастые полковники. – Лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила.

Вспомнились Василию Васильевичу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах. С загоревшимися щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого. Вспомнил узкие переходы кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами усы, дабы скрыть усмешку...

– Так гетман зажег степи?

– Так, – подтвердили полковники.

– Хорошо. Быть по-вашему.

В тот же день в Москву поскакал одвуконь Василий Тыртов, зашив в шапку донос на гетмана. Когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота. «Буде Самойлович старшине и всему малороссийскому войску негоден, – великих государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноды у него отобрав, послать его в великороссийские города за крепкою стражей. А на его место гетманом учинить кого они, старшина со всем войском малороссийским, излюбят...»

В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и наутро взяли гетмана в походной церкви, бросили на плохую телегу и отвезли к Голицыну. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял:

– Так то же они брешут, Василий Васильевич. Ей-богу, брешут... То хитрости Мазепы, врага моего... – Увидев входящих Мазепу, Гамалей и Солонину, он побагровел, затрясся: – Так ты их слушаешь?.. Собаки, того и ждут они – Украину продать полякам.

Гамалей и Солонина, выхватив сабли, кинулись к нему. Но стрелецкие сотники отбили гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбрать нового гетмана: казачьи полки разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на копье ненавистного всем гадяцкого полковника. По всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки.

Без зова в шатер Василия Васильевича пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке, только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, помногу жывал в Польше и Австрии. Здесь, в походе, он отпустил бородку, – как кацап, – стригся по московскому обычаю. Достоин поклонясь, – равный равному, – сел. Длинными сухими пальцами щипля подбородок, уставил выпуклые, умные глаза на Василия Васильевича.

– Может, пан князь хочет говорить по-латыни?.. (Василий Васильевич холодно кивнул. Мазепа, не понижая голоса, заговорил по-латыни.) Тебе трудно разбираться в малороссийских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана, и есть слух, что хотят крикнуть Борковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича: опаснее для Москвы нет врага, чем Борковский... Говорю как друг.

– Ты сам знаешь, – мы в ваши, малороссийские, дела вмешиваться не хотим, – ответил Василий Васильевич, – нам всякий гетман хорош, был бы другом...

– Сладко слушать умные речи. Нам скрывать нечего, – за Москвой мы как у Христа за пазухой... (Василий Васильевич, быстро усмехнувшись, опустил глаза.) Земель наших, шляхетских, не отнимаете, к обычаям нашим благосклонны... Греха нечего таить, – есть между нами такие, что тянут к Польше... Но то, корысти своей ради, чистые разорители Украины... Разве не знаем: поддайся мы Польше, – паны нас с земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами. Нет, князь, мы великим государям верные слуги... (Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз.) Что ж, бог меня милостями не обидел. В прошлом году закопал близ Полтавы, в тайном месте, бочонок – десять тысяч рублей золотом, на черный день. Мы, малороссы, люди простые, за великое дело не жаль нам и животы отдать... Что страшно? Возьмет булаву изменник или дурак, – вот что страшно...

– Что ж, Иван Степанович, с богом в добрый час, – кричите завтра гетмана. – Василий Васильевич, встав, поклонился гостю. Помедлил и, взяв за плечи, троекратно облобызал его.

На другой день у походной полотняной церкви, на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноды. Две тысячи казаков стояли вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в епанче, в шлеме с малиновыми перьями князь Голицын, за ним – вся казацкая старшина. Василий Васильевич стал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую руку положив на саблю, – сказал придвинувшимся казакам:

– Всевеликое войско малороссийское, их царские величества дозволяют вам, по старому войсковому обычаю, избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет... Люб ли Мазепа али кто другой – воля ваша...

Полковник Солонина крикнул: «Хотим Мазепу». Подхватили голоса, и зашумело все поле: «Мазепу в гетманы...»

В тот же день в шатер к князю Голицыну четыре казака принесли черный от земли бочонок с золотом.

3

Построенная года два тому назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера: стены расширены и укреплены сваями, снаружи выкопаны глубокие рвы, на углах подняты крепкие башни с бойницами. Плетенные из ивняка фашины и мешки с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. Посредине крепости поставили столовую избу человек на пятьсот. На главной башне, над воротами, играли куранты на колоколах.

Шутки шутками, крепость – потешная, но при случае в ней можно было и отсидеться. На широком, скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов, Преображенского и Семеновского, – Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. «Смирна, хальт!» – Солдаты останавливались, отбивая правой ногой, замирали. «Правой плечь – вперед! Форвертс! Неверно! Лумпен! Сволочь! Слюшааай!...» – Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади. Даже Петр, теперь унтер-офицер, вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него.

Из слободы взяли еще двух иноземцев, Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение с астрольбией, и старика Картена Брандта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математике и фортификации, Картен Брандт взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе Измайлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра.

Все чаще из Москвы наезжали бояре – взглянуть своими глазами, какие такие игры играют на Яузе? Куда идет столько денег и столько оружия из Оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки: впереди – боярин, в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне, борода – веником, щеки налитые, за ним – дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. На этой стороне речки тянутся воза с песком, с фашинами; солдаты тащат бревна; на высокой треноге, на блоках поднимается тяжелая колотушка, и – эх! – бьет в сваи; летит земля с лопат, расхаживают иноземцы с планами, с циркулями, стучат топоры, визжат пилы, бегаютдесятники с саженьями. И вот, – о господи, пресвятые угодники! – не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! – царь, в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, рысью по доскам везет тачку...

Снимает боярин шапку о сорока соболей, снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны. И – глядят, разводя руками... Отцы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, чтоб пылинка али муха не села на его миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу в редкие дни, блюли византийское древнее великолепие... А это что? А этот что же вытворяет? С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегают по доскам, бесстыдник, – трубка во рту с мерзким велием, еже есть табак... Основу шатает... Уж это не потеха, не баловство... Ишь, как за рекой холопы зубы-то скалят...

Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:

– Казни, государь, за правду, стар я молчать, – стыдно глядеть, срамно, небывало...

Как жердь длинный, вылезет Петр на плетеный вал, прищурится:

– А, это ты... Слышь... Что Голицын пишет, – завоевал он Крым-то али все еще нет?

И пойдут тыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои, кому не глотку драть, – на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж, – все одно голова с плеч, – заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца-де твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя, род-де наш от Рюрика,

сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм Божий...»

– Алексашка, – скажет Петр, – давай фитиль. – И, наведя, ахнет из двенадцатифунтового единорога горохом по боярину.

Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман; весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко, трясется низенький, коренастый Картен Брандт. И все иноземцы и русские повysкочат на валы глядеть, как свалилась горлатная шапка, помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян, шарахнулись, брыкаются лошади. На весь день хватит смеха и рассказов.

Крепость наименовали стольный город Прешбург.

4

Алексашка Меншиков, как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был, бес, проворен, угадывал мысли: только кудри отлетали, – повернется, кинется, и – сделано. Непонятно, когда спал, – проведет ладонью по роже и, как вымытый, – веселый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабанах, стрелять из мушкета, рубить саблехворостину, – ему нипочем. Начнет потешать – умора; как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два заики... Петр от смеха плакал, глядя – ну, прямо – влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутком. Но он метил выше: все – шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы, Петр от нетерпения грызет заусенцы, – Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и – скороговоркой, чтобы не прогнали:

– Так это же надо вот как делать – проще простого.

– О-о-о-о-о-о! – скажут генералы.

У Петра вспыхнут глаза.

– Верно!

Раздобыть ли надо чего-нибудь, – Алексашка брал денег и верхом летел в Москву, через плетни, огороды, и доставал нужное, как из-под земли. Потом, подавая Никите Зотову (ведущему Потешным приказом) счетик, – степенно вздыхал, пошмыгивая, помаргивая: «Уж что-то, а уж тут на грош обману нет...»

– Алексашка, Алексашка! – качал головой Зотов. – Да видано ли сие, чтоб за еловые жерди плачено по три алтына?! Им красная цена – алтын... Ах, Алексашка...

– Не наспех, так и – алтын, а тут – дорого, что наспех. Быстро я с жердями обернулся, вот что дорого, – чтобы Петра Алексеевича нам не томить...

– Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство.

– Господи, да что вы, за что напрасно обижаете, Никита Моисеич... – отвернув морду, нашмыгав слезы из синих глаз, Алексашка говорил такие жалостные слова.

Зотов, бывало, махнет на него пером:

– Ну, ладно, иди... На этот раз поверю, – смотри-и...

Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру: «Мальчишка пойдет далеко, предан, как пес, умен, как бес». Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, – чем бы ни одаривали. Носил Лефоровы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик – огромный, рыжий, как огонь, – надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Данилычем.

Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки:

– Мин херц² (так Алексашка часто называл теперь Петра), прикажи показать ему барабанную ловкость... Алеша, бери барабан...

Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом, – выбил сбор, зорю, походный марш, «бегом, коли, руби, ура», и чесанул плясовую, – ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали – даже не видно.

Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.

– В первую роту барабанщиком!..

Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедей сковано землю, из низких туч посыпало крупой, – начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через Алексашку иноземцы передавали приглашения царю Петру: на красивой бумаге в рамке из столбов и виноградных лоз, – пузатый голый мужик сидит на бочке, сверху – голый младенец стреляет из лука, снизу – старец положил около себя косу. Посредине золотыми чернилами вирши:

«С сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы», а если прочесть одни заглавные буквы – выходило «герр Петер».

Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь (верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен). Вдвоем они закатывались на Кукуй. Алексашка по дороге говорил:

– Давеча забегал в аустерию, мин херц, – заказать полпива, как вы приказали, – видел Анну Ивановну... Обещалась сегодня быть непременно...

Петр, шмыгнув носом, молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованные колеса громыхали по обледелым колеям, в тьме не разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья. И вот – приветливые огоньки. Алексашка, всматриваясь, говорил: «Левей, левей, мин херц, заворачивай в проулок, здесь не проедем...» Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики. Голые плечи у женщин. Музыка. Кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени.

Петр входил не просто, – всегда как-нибудь особенно выкатив глаза: длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге... Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива.

– Петер! – громко вскрикивал хозяин.

Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей – царем варваров, показывая в низком книксене пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой поре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова.

Когда, звякнув огромными шпорами, приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер, – на Петра находила туча, он сутулился на табуретке, искоса следя, как разлетаются юбки беззаботно танцующей Анхен, повертывается русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная бархоткой с золотым сердечком.

У него громко болело сердце – так желанна, недоступно соблазнительна была она.

Алексашка танцевал с почтенными дамами, кои за возрастом праздно сидели у стен, – трудился до седьмого пота, красавец. Часам к десяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, уди-

² То есть: mein Herz – мое сердце. (Примеч. А. Н. Толстого)

вительными земляными яблоками, чудной сладости и сытости, под названием – картофель... Петр много ел, пил пиво, – стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.

– Была бы у меня мельница на слободе али кожевенное заведение, как у Тиммермана...

Вот бы... – говорил Петр, хватаясь за железо тележки.

– Тоже – чему позавидовали... Держитесь крепче – канава.

– Дурак... Видел, как живут? Лучше нашего...

– И вы бы тогда женились.

– Молчи, в зубы дам...

– Погоди-ка... опять сбились...

– Завтра маменьке отвечай... В мыльню иди, исповедуйся, причащайся, – опоганился...

Завтра в Москву ехать, – мне это хуже не знаю чего... Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем – ниже Соньки... У Ванечки-брата из носу воняет. Морды эти боярские, сонные, – так бы сапогом в них и пхнул... Молчи, терпи... Царь! Они меня зарежут, я знаю...

– Да зря вы, чай, так-то думаете, – спяну.

– Сонька – подколотная змея... Милославские – саранча алчная... Их сабли, колья не забуду... С крыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал... Помнишь?

– Помню!

– Васька Голицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз идти на Крым... Сонька, Милославские дожидаться не могут, когда он с войсками вернется... У них сто тысяч... Укажут им на меня, ударят в набат...

– В Прешпурге отсидимся.

– Они меня уж раз ядом травили... С ножом подсылали. – Петр вскочил, озираясь. Тьма, ни огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил. – Проклятые, проклятые!

– Тпру... Вот она где – плотина. – Алексашка хлестнул вожжами.

Свистели ветлы. Добрый конь вынес на крутой берег. Показались огоньки Преображенского.

– Стрельцов, мин херц, ныне по набату не поднимаешь, эти времена прошли, спроси кого хочешь, спроси Алешку Бровкина, он в слободах бывает... Они сестрицей вашей тоже не слишком довольны...

– Брошу вас всех к черту, убегу в Голландию, лучше я часовым мастером стану...

Алексашка свистнул.

– И не видать Анны Ивановны, как ушей.

Петр нагнулся к коленям. Вдруг кашлянул и засмеялся.

Весело загоготал Алексашка, стегнул по лошади.

– Скоро вас мамаша женит... Женатый человек, – известно, – на своих ногах стоит... Недолго еще, потерпите... Эх, одна беда, что она – немка, лютеранка... А то бы чего проще, лучше. А?..

Петр придвинулся к нему, с дрожащими от мороза губами силился разглядеть в темноте Алексашкины глаза.

– А почему нельзя?

– Ну, – захотел! Анну Ивановну-то в царицы? Жди тогда набата...

5

Прельстительные юбочки Анхен кружились только по воскресеньям, – раз в неделю бывали хмель и веселье. В понедельник кукуйцы надевали вязанные колпаки, стеганные жилеты и трудились, как пчелы. С большим почтением относились они к труду, – будь то купец или

простой ремесленник. «Он честно зарабатывает свой хлеб», – говорили они, уважительно поднимая палец.

Чуть свет в понедельник Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картен Брандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская: Картен Брандт строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы – мастера и ученики – подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее, – строга́ли, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии.

Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение, резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку, и там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше.

Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле: «Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится... Осетров ей навезли из Астрахани – саженных. И ведь хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка... Жадна она стала, слуг голодом морит...» Рассказывали, что, тоскуя по Василии Васильевиче, Софья взяла наверх ученого чернеца, Сильвестра Медведева, и он вроде как галант и астроном: ходит в шелковой рясе, с алмазным крестом, шевелит перстнями, бороду подстригает, – она у него – как у ворона и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке, и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, уставя палец к носу, читает по ним, и Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: «Ну, как, да – ну, как?»... Вчера видели, – принес в мешке человеческий след вынутый, кости и корешки, зажег три свечи, – шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы... Соньку трясло, глаза выпучила, сидела синяя, как мертвец...

Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом:

- Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?
- Темные, матушка царица, темные, истинный бог...
- Кудрявые?
- Именно – кудрявые... И все мы думаем: уж не нашего ли батюшки, Петра Алексеевича, волосы жег...

Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной ереси, коя идет от покойного Симеона Полоцкого и от иезуитов. Написал книгу «Манна», где глаголет и мудрствует, будто не при словах «сотвори убо» и прочая, а только при словах: «Примите, ядите» – хлеб пресуществляется в дары. В Москве только и говорят теперь и спорят, и бедные и богатые, в палатах и на базарах, что о хлебе: при коих словах он пресуществляется? Головы идут кругом, – не знают – как и молиться, чтоб вовремя угодить к пресуществлению. И многие кидаются от этой ереси в раскол...

По Москве ходит рыжий поп Филька и, когда соберутся около него, начинает неистовствовать: «Послан-де я от Бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи... Чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя: в трех-де перстах сидит Кика-бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя, – кукишом креститесь...» Многие тут же в него верят и смущаются. И никакой хитростью схватить его нельзя.

От поборов на крымский поход все обнищали. Говорят: на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит к раскольникам, – за Уральский камень, в Поморье, и в Поволжье, и на Дон. И те, раскольники, ждут антихриста, – есть такие, которые его уже видели. Чтоб хоть души спасти, раскольников проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в овинах и банях. Кричат, что царь,

и патриарх, и все духовенство посланы антихристом. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Палеостровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в овине боронами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубках. На Дону, на реке Медведице, беглый человек, Кузьма, называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле Бога не стало, на земле стал антихрист – московский царь, патриарх и бояре – его слуги...» Казаки съезжаются к тому папе и верят... Весь Дон шатается.

От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх... Живыми в огонь кидаются, этот ли народ не страшен!

Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина... Будто вчера это было... Тогда так же ожидали антихриста, Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику...

Думала: «Женить надо Петрушу, – длинный стал, дергается, вино пьет, – все с немками, с девками... Женится, успокоится... Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у бога счастья, охраны от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной...»

Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше, – приедут ближние бояре, – он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой Крестовой палате. А теперь на все: «Некогда...» В Крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер – пускать кораблики, паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили.

Царица плакалась младшему брату Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет... Вот у Лопухиных, у окольного Лариона, девка Евдокия на выданье, в самом соку, – шестнадцати лет... Лопухины – горласты, род многочисленный, захудалый... Как псы, будут около тебя...»

По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину наемкнули Лопухиным. Те многочисленным родом – человек сорок – прискакали в монастырь, набили полную церковь, – все худые, злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке. Осмотрела. Повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю, тайно. Девка ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, – у Лопухиных горели глаза...

Одна радость случилась среди горя и уныния: двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе – мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича: «Осрамил-де нас перед Европой, не полки ему водить – сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли», ругал и срамил ближних бояр за то, что «брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет...» И с той поры зачастил в Преображенское.

Глядя на постройку Прешпурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал. Осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру:

– При Акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать, – отрезали им медные носы, прибили на ростры, сиречь колонны. Но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и – весь мир.

Он долго говорил с Картенем Брандтом, пытая его знание, и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих

голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арапского карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой, карлами же, ростом один – двенадцать вершков, другой – тринадцать с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в чалмы с павлиньими перьями.

Борис Алексеевич был богат и силен, ума – особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом – неводержан к питию и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его, – не подослан ли Софьей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но, что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета – четверней, с двумя страшными эфиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом – к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом, – под глазами дрожат припухлые мешочки, – от закрученных усов, от подстриженной, с пролысинкой, бородки несет мускусом. Глядя на зубы его, засмеешься: до того белы, веселы...

– Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам... Надоел, прости...

– Полно, батюшка, тебе всегда рады... Что в Москве-то слышно?

– Скучно, царица, да уж так в Кремле скучно... Весь дворец паутиной затянуло...

– Что ты говоришь? Да ну тебя...

– По всем палатам бояре на лавках дремлют. Ску-у-ка... Дела пло-охи, никто не уважает... Правительница третий день личика не кажет, заперлась... Сунулся к ручке, к царю Ивану, – лежит его царское величество на лежаночке в лисьей шубке, в валеночках, так-то пригорюнился: «Что, – говорит мне, – Борис, скучно у нас? Ветер воев в трубах, так-то страшно. К чему бы?...»

Наталья Кирилловна догадалась наконец, – все шутит. Метнула взором на него, засмеялась...

– Только и приободришься что у вас, царица... Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок... Глаз у него не спящий...

Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блещут глаза. Волнуясь, ходит по спальне, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит – непрочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят...

Петр полюбил Бориса Алексеевича; встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами гулять и шалить на Кукуе, – выдумывал необыкновенные потехи. Не раз, разгоряченный вином, вскакивал, – бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос... И по-латыни читал из Вергилия:

«Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, и сердце – весельем, и душу – сладкой пищей...»

Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет соломой на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне... А здесь – взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи. Шумство. Веселье...

– Быть пьяному синклиту нерушимо! – Петр приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов». Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Зотов, самый горячий, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью – на шею. Алесашку, во всем безобразии, сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху.

В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно зашептали: «На Кукуе немцы проклятые царя вконец споили, кощунствуют и бесовствуют». В Преображенское приехал князь Приимков-Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил – витие-

вато, на древнеславянском – о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, – длиннобородый, сухой... Не человек – тень надоевшая, ломота зубная, скука! Петр нагнулся к Алексашкиному уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани, – повез его к Лефорту.

За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов, в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков-Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под полрой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Сие есть бог наш, Бахус, коему поклонимся», – помертвел князь Приимков-Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.

С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архиереом бога Бахуса, а сходбища у Лефорта – сумасброднейшим и всепьянейшим собором.

Дошел слух о том и до Софьи. В гнев послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Ромодановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.

Докладывал правительнице:

– Шалостей и забав там много, но и дела много... В Преображенском не дремлют...

Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться, – подрост волчонок...

6

Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах – не протолкаться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью, платье, – более пуда весом, – бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь – давили плечи. Сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло:

– Матушка, голубушка, – едет!

Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах – султаны, на бархатных шлеях – наборные кисти до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: «Пади, пади!», у дверей низкого, крытого парчой возка скачут офицеры в железных латах, коротких епанчах. Остановились у Красного крыльца. Дворяне, в тесноте ломая бока друг другу, кинулись высаживать князя...

У правительницы закатились глаза. Верка опять подхватила ее, – «вот соскучилась-то сердешная!». Софья прохрипела:

– Верка, подай Мономахову шапку.

Она увидела Василия Васильевича, только когда всходила на трон в Грановитой палате. В паникадилах горели свечи. Бояре сидели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь будто потраченный молью: борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове...

Софья едва сдерживала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья горячую руку. Став на колено, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду...

– Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здоровье... – Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел. – Милостив ли Бог к делам нашим, кои мы вверили тебе?

Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу – блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колено, опустив голову, раскинув руки...

Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного, – зачем он и приехал. Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц, – сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами, – вытянулись, ожидая, что скажет князь Голицын, подбираясь к их кошелю... Василий Васильевич повел речь околицами... «Я-де раб и холоп ваш, великих государей, царей и великих князей и прочая, бью челом вам, великим государям, в том, чтобы вы, великие государи, мне бы, холопу вашему Ваське с товарищи, вашу, великих государей, милость как и раньше, так и впредь оказали и велели бы пресвятые пречистые владычицы богородицы, милосердные царицы и приснодевы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному, послать, дабы пречистая богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла...»

Долго он говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ Донской богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили: послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич уже твердо заговорил о главном: войскам третий месяц не плачено жалованья. Иноземные офицеры, – к примеру полковник Патрик Гордон, – обижаются, медные деньги кидают наземь, просят заплатить серебром, от крайности хоть соболями... Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех не хватает... А с февраля – выступать в поход... Как бы опять сраму не получилось.

– Сколько же денег просишь у нас? – спросила Софья.

– Тысяч пятьсот серебром и золотом.

Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли. Зашумели. Вскикая, ударяли себя рукавами по бокам: «Ахти нам!..» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала горящим взглядом. Он заговорил еще смелее:

– Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи, иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам (привстав, поклонился Софье), пресветлым государям, от того дела быть должна немалая польза... Говорят они так: на морях-де ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий – и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем, купцы ваши московские безденежны. А французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы, – пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и въезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело.

Старый князь Приимков-Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича:

– От своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться. А ты чужих на шею накачиваешь... Конец православию!..

– Едва англичан сбыли при покойном государе, – крикнул думный дворянин Боборыкин, – а ныне под француза нам идти?.. Не бывать тому.

Другой, Зиновьев, проговорил с яростью:

– Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху вконец сломить... А не на том, чтоб им давать промыслы да торговлю... Чтоб их во смирение привести... Мы есть Третий Рим...

– Истинно, истинно! – зашумели бояре.

Василий Васильевич оглядывался, от гнева глаза посветлели, дрожали ноздри.

– Не менее вашего о государстве болею... (Он повысил голос.) Грудь... (Он ударил перстнями по кольчуге.) Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукова и Мышецкого... Поехали просить денег с пустыми руками, – честь и потеряли на том... (Многие бояре густо засопели.) А поехали бы с выгодой французскому королю, – три миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого дворца. Иезуиты клялись на Евангелии: лишь бы великие государи согласились на их прожект и Дума приговорила, – а уж они головой ручаются за три миллиона ливров, кои получим еще до весны.

– Что ж, бояре, подумайте о сем, – сказала Софья, – дело великое.

Легко сказать – подумать о таком деле... Действительно было время, после великой смуты, – когда иноземцы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго! – сами-де повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера Картена Брандта, с великими трудами построили корабль «Орел», – да на этом и замерло дело, людей, способных к мореходству, не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. «Орел» сгнил, стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезут иноземцы, норовят по локоть засунуться в русский карман... Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи, – Голицын без денег не уедет... Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая...

Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:

– Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... Ну, хошь бы на соль...

Князь Волконский, острый умом старец, отвечивал:

– На лапти еще налога нет...

– Истинно, истинно! – зашумели бояре. – Мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, – вот и побьем хана...

Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался, – нарушив чин, вскочил, застучал тростью.

– Безумцы! Нищие – бросаете в грязь сокровище! Голодные – отталкиваете руку, протянувшую хлеб. Да что же, господь помрачил умы ваши? Во всех христианских странах, – а есть такие, что и уезда нашего не стоят, – жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей... Лишь мы одни дремлем непробудно... Как в чуму – розно бежит народ, – отчаянно... Леса полны разбойников. И те уходят куда глаза глядят... Скоро пустыней назовут русскую землю! Приходи, швед, англичанин, турок – владей...

Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона, – у самой дрожали щеки.

– Французов допускать незачем, – густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Ромодановский. Софья впиалась в него взором. Бояре затихли. Он, покачав чревом, чтобы сползти к краю лавки, встал: коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. – Французских купцов нам не надо – последнюю рубашку снимут... Так... Вот недавно был в Преображенском у

государя... Потеха, баловство... Верно... Но и потеха бывает разумная... Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры, – дело знают. Два полка – Семеновский, Преображенский – не нашим чета стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись... Заводить у себя железное дело, полотняное, кожаное, стекольное... Мельницы ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот – вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти... А, да ну вас, – приговаривайте, мне все одно...

Он, будто рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами, попятился, сел на лавку... В этот день боярская Дума окончательно ничего не приговорила...

7

В морозный вечер много гостей собралось в аустерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «О, и жарко же у тебя, Монс!» – гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови». Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза навертывались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом, – не смог их поднять, расплескал. Истома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух – полон морозных переливающихся игол... Снег – на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто задышал... Что-то с невероятной быстротой близилось к нему... Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, – где уютный городок в долине меж гор над озером!.. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце... Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал...

Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова, Матильда, четверо детей и три заведения – аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь, Модесту, этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких – Филимон и Виллим. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши, обнаружились долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт деньгами и хлопотами. Дом с аустерией остался за вдовой, где Матильда и Анхен день и ночь теперь проливали горькие слезы.

8

– Маменька, звали?

– Сядь, ангел Петенька...

Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ох, и грязен, платье порвано. Палец обвязан тряпкой. Волосики – вихрами. Под веками – тень, глаза беспокойные...

– Петруша, ангел мой, не гневайся – выслушай...

– Слушаю, маменька...

– Женишь тебя хочу...

Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликом святителей до двери вкось и вкось по спальне. Сел. Дернул головой... Большие ступни повернулись носками внутрь.

– На ком?

– Присмотрена, облюбована уже такая лапушка, – голубь белый...

Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам, – хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил:

– Да некогда мне, маменька... Право, дело есть... Ну надо, – так жените... Не до того мне...

Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.

Глава четвертая

1

Ивашка Бровкин (Алешкин отец) привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову, – домоправитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом. Въехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и возков стояло у Красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов; кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. Вкруг дымящегося навоза суетились воробы.

По открытой лестнице всходили и сбегали золотокафтанье стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина, – на царских харчах Василий Волков раздобыл, борода кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак.

«Эх, задержат меня, не в добрый час приехал!» – подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала... Он умильно распустил все морщины: «Собаченька, батюшка, что ты, что ты...» Отошла, сволочь сытая, не укусила, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх.

– Ты что, бродяга, – кормить здесь расположился?..

Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться... Сено он убрал, лошадь опять взнуздал. В это время малиново на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы, – одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки, зверовидные задастые кучера расправили вожжи... На лестнице на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили поезжане: отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами, – дорогие шапки, зеленые, парчовые, алобархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься. Вышли бояре... Среди них – женщина во многих шубах, одна дороже другой... Под рогастой кикой брови ее густо набелены – белые, веки – сизые – расписаны до висков, щеки кругло, клюквенно нарумянены... Лицо как блин... В руке – ветка рябины. Красивая, веселая, видно – хмельная... Ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегаая мимо Ивашки, говорили:

– Сваха, гляди-ка, – мамыньки.

– Сенник приезжала убирать...

– Постель стелить молодым...

Гикнули конюха, воздух запел от бубенцов, завизжали полозья, посыпался иней с берез, – поезд потянулся через равнину к сизым дымам Москвы. Ивашка глядел, разинув рот. Его сурово окликнули:

– Очнись, разиня...

Перед ним стоял Василий Волков. Как и подобает господину, – брови гневно сдвинуты, глаза строгие, пронизывающие...

– Чего привез?

Ивашка поклонился в снег и, вынув из-за пазухи письмо от управителя, подал. Василий Волков отставил ногу, наморщась, стал читать: «Милостивый господин пресветлый государь, посылаем тебе столовый для твоей милости запас. Прости для бога, что против прежнего года недобрано: гусей битых менее, а индюков и вовсе нет... Народишко в твоей милости дере-

веньке совсем оскудел, пять душ в бегах ныне, уж и не знаем, как перед тобой отвечать... А иные сами едва с голоду живы, хлеба чуть до покрова хватило, едят лебеду. По сей причине недобор приключился».

Василий Волков кинулся к телеге: «Покажи!» – Ивашка расшпилил воз, трясаясь от страху... Гуси тощие, куры синие, мука в комках...

– Ты чего привез? Ты чего мне привез, пес паршивый! – неистово закричал Волков. – Воруете! Заворовались!

Дернул из воза кнут и начал стегать Ивашку. Тот стоял без шапки, не уклонялся, только моргал. Хитрый был мужик, – понял: пронесло беду, пускай постегает, через полушубок не больно...

Кнут переломился в черенке. Волков, разгораясь, схватил Ивашку за волосы. В это время от дворца быстро подбегали двое в военных кафтанах. Ивашка подумал: «На подмогу ему, ну – пропал...» Передний, – что пониже ростом, – вдруг налетел на Волкова, ударил его в бок... Господин едва не упал, выпустив Ивашкины волосы. Другой, что повыше, – синеглазый, с длинным лицом, громко засмеялся... И все трое начали спорить, лаяться... Ивашка испугался не на шутку, опять стал на колени... Волков шумел:

– Не потерплю бесчестья! Оба мои холопы! Прикажу бить их без пощады... Мне царь – не указка...

Тогда синеглазый, прищурясь, перебил его:

– Постой, постой, – повтори-ка... Тебе царь – не указка? Алеша, слышал противные слова? (Ивашке.) Слышал ты?

– Постой, Александр Данилыч... – Гнев сразу слетел с Васьки Волкова. – В беспамятстве я проговорил слова, ей-ей в беспамятстве... Ведь мой же холоп меня же чуть не до смерти...

– Пойдем к Петру Алексеевичу, там разберемся...

Алексашка зашагал к дворцу, Волков – за ним, – на полпути стал хватать за рукав. Третий не пошел за ними, остался около воза и тихо сказал Ивашке:

– Батя, ведь это я... Не узнал? Я Алеша...

Совсем заробел Ивашка. Покосился. Стоит чистый юноша, в дорогом сукне, ясных пуговицах, накладные волосы до плеч, на боку – палаш. Все может быть и Алеша... Что тут будешь делать? Ивашка отвечал двусмысленно:

– Конечно, как нам не признать... Дело отецкое...

– Здравствуй, батя.

– Здравствуй, честный отрок...

– Что дома-то у нас?

– Слава богу.

– Живете-то как?

– Слава богу...

– Батя, не узнаешь ты меня...

– Все может быть...

Ивашка, видя, что битья и страдания больше не будет, надел шапку, подобрал сломанный кнут, сердито начал зашпиливать раскрытый воз. Отрок не уходил, не отвязывался. А может, и в самом деле это пропавший Алешка? Да что из того, – высоко, значит, птица поднялась. С большого ли ума признавать-то его – приличнее и не признавать... Все же глаз у Ивашки хитро стал шуриться.

– Отсюда бы мне в Москву надо, старуха велела соли купить, да денег ни полушки... Алтын бы пять али копеек восемь дали бы, за нами не пропадет, люди свои, отдадим...

– Батя, родной...

Алешка выхватил из кармана горсть, да не медных, – серебра: рубля с три али более. Ивашка обомлел. И когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги, – затрясся, и

колени сами подогнулись – кланяться... Алеша махнул ручкой, убежал... «Ах, сынок, ах, сынок», – тихо причитывал Ивашка. Сощуренные глаза его быстро посматривали, – не видал ли эти деньги кто из челяди? Две деньги сунул за щеку для верности, остальные в шапку. Поскорее выгрузил воз, сдав добро господскому слуге под расписку, и, нахлестывая вожжами, погнал в Москву.

Плохо бы отозвались Васке Волкову его слова: «Мне-де царь – не указка», – спознаться бы ему с заплочными мастерами в приказе Тайных дел... Но, вскочив за Алексашкой в сени, он повис у него на руке, провололся несколько по полу и, плача, умолил взять перстень с лалом, – сдернул с пальца...

– Смотри, дворянский сын, сволочь, – проговорил Алексашка, сажая дорогое кольцо на средний палец, – в последний раз тебя выручаю... Да еще Алешке Бровкину дашь за бесчестие деньгами али сукном... Понял?

Взглянув на лал, с усмешкой тряхнул париком и пошел на точеных каблуках, покачивая плечами... Давно ли люди на базарах его за виски таскали, нюхнув пироги с гнилой зайчатиной? Ах, какую силу стал брать человек!.. Волков понуро побрел к себе в каморку. Отокнув сундук со звоном, бережно отыскал кусок сукна... До слез стало жалко, обидно... Кому? Мужичьему сыну, холопу, коего плетью поперек морды – дарить! Погоревал. Крикнул слугу:

– Отнеси первой Преображенской роты барабанщику Алексею Бровкину, – скажешь, мол, кланяюсь, чтоб между нами была любовь... – Вдруг, стиснув кулак, грозно – слуге: – Ты зубы-то не скаль, двину в зубы-то... С Алешкой говори тихо, человечно, бережно, – он, подлец, ныне опасный...

Алексашка Меншиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры, вешали слежавшиеся за долгие годы занавесы и шитые жемчугом застенки на образа... Наливали лампы. Стук и беготня раздавались по всему дворцу.

Петра он нашел одного в сеннике, только что убранном свахой, – пристройке без земляного наката на потолке (чтоб молодые легли спать не под землей, как в могиле). Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Платочек был изорван в клочья зубами. Петр, вскользь взглянув на Алексашку, залился румянцем...

– Убранство красивое, – проговорил Алексашка певуче, – чисто в раю для ангелов приготовлено...

Петр разжал зубы и хохотнул. Указал на постель:

– Чепуха какая...

– Окажется молодая ладная, горячая, так – и не чепуха... Лопни глаза, мин херц, слаще этого ничего нет...

– Врешь ты все...

– Я-то с четырнадцати лет это знаю... Да еще какие шкуры-девки попадались... А твоя-то, говорят, распрекрасная краля...

Петр коротко передохнул. Опять оглянул бревенчатый сенник с высоко прорубленными в трех стенах цветными окошками. В простенках – тегеранские ковры, пол застлан ковром с птицами и единорогами. В углах воткнуто четыре стрелы, на каждой повешено по сорок соболей и калач. На двух сдвинутых лавках, на двадцати семи ржаных снопах, на семи перинах постлана шелковая постель со множеством подушек в жемчужных наволоках, сверху на них лежала меховая шапка. В ногах куньи одеяла. У постели стояли липовые бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем...

– Что ж, ты так ее и не видел? – спросил Петр.

– Мы с Алешкой челядинцев подкупили и на крышу лазили. Никак нельзя... Невеста в потемках сидит, мать от нее ни на шаг, – сглазу бояться, чтобы не испортили... Сору не велено из ее светлицы выносить... Дядя Лопухины день и ночь по двору ходят с пищалями, саблями...

– Про Софью узнавал?

– Что ж, – побесилась, а разве она может запретить тебе жениться? Ты смотри, мин херц, как сядете с молодой за стол, ничего не ешь, не пей... А захочешь испить, оглянись на меня, я подам чашу, из нее и пей...

Петр опять укусил изорванный платочек.

– В слободу съездим? Никто чтоб не узнал... На часок... А?

– Не проси, мин херц, сейчас и не думай об Монсихе...

Петр вытянул шею, раздул ноздри, бледнея.

– Волю взял со мной говорить! (Схватил Алексашку за грудь, – отлетели пуговицы...) Осмелел? – Сопнув, тряхнул еще, но отпустил, и – спокойнее: – Принеси шубу поплоче... Выйду в огород, туда подашь сани...

2

Свадьбу сыграли в Преображенском. Званных, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженные отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день уехала на богомолье.

Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранные алмазами, бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло, – Евдокия едва не обмерла. Поверх летника – широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх – подволоку, сребротканую, на легком меху, мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец.

Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива, – как восковая, сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пряники с оттиснутыми лицами угодников, огурцы, варенные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю, здесь же находился костяной ларчик с рукодельем и другой, медный, вызолоченный, с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин – розга.

Отец, окольный Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Федором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы: «Ну, как, ну, что невеста-то?» – жиловатый носик окостенел у него... Потоптавшись, спохватываясь, уходил торопливо. Мать, Евстигнея Аникитовна, давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евшие с зари, начали похрипывать.

Вбежала сваха, махнула трехаршинными рукавами.

– Готова невеста? Зовите поезжан... Каравай берите, фонари зажигайте... Девки-плясицы где? Ой, мало... У бояр Одоевских двенадцать плясало, а тут ведь царя женим... Ой, милые, невестушка-то – красота неописанная... Да где еще такие-то – и нету их... Ой, милые, бесценные, что же вы сделали, без ножа зарезали... Невеста-то у нас неприкрытая... Самую суть забыли... Покров, покров-то где?

Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнеев Аникитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились:

*Хмелюшка по выходам гуляет, Сам себя хмель
выхваляет, Нету меня, хмелюшки, лучше... Нету меня, хмеля,
веселее...*

Слуги подняли на блюдах каравай. За ними пошли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка, в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петя Лопухин, двоюродный брат невесты, нес миску с хмелем, шелковыми платками, собольими и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев, Лопухины, самые расторопные, – известные сутяги и ябедники, – держали путь: следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха вели под руки Евдокию, – от тяжелого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах, – одна – бархатную бабью куклу, другая – уборы для раздачи гостям. Шел Ларион в собранных со всего рода мехах, на шаг позади – Евстигнеев Аникитовна, под конец валила вся невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах.

Так вступили в Крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваем поставили на стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину. Молчали. У Лопухиных натянулись, высохли глаза, – боялись, не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав: – Не томи...

Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время идти по невесту. У Петки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампы, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотала у невесты меж ребер, чтоб дышала.

Заскрипели лестницы на переходах. Идут! Двое рынд, неслышно появясь, стали у дверей. Вошел посаженный отец, Федор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Федор Юрьевич сказал густым голосом:

– Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы, не мешкая, изволил идти к своему делу.

Невестина родня моргнула, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился, – молод, не терпелось... В дверь влетели клубы ладана. Вступили – рослый, буйноволосый благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадилом, и молодой дворцовый поп, мало кому ведомый (знали, что Петр прозвал его Битка), кропил святой водой красного сукна дорожку. Меж ними шел ветхий, слабоголосый митрополит во всем блаженном чине.

Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный тысяцкий, Борис Алексеевич Голицын, вел под руку Петра. На царе были бармы и отцовские, – ему едва не по колена, – золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Петр был непокрыт, темные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, немигающие, выпячены желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию, – почуяла под рукой, как у нее задрожали ребрышки.

За женихом шел ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше,

переглянулись: князь-папа, кутилка, бесстыдник, – не такого ждали ясельничим... Лев Кириллыч и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды – милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опашень... Когда надевала, – плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года...

Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко:

– Хотим князю откупить место.

– Дешево не продадим, – ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту.

– Железо, серебро или золото?

– Золото.

Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость ее бедра, отодвинул ногу.

Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочел молитвы и благословил еду и питье. Но никто не дотронулся до блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне:

– Благословите невесту чесать и крутить.

– Благословит Бог, – ответил Ларион. Евстигнея только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой. Сенные девки в дверях, боярыни и боярышни за столом запели подблюдные песни – невеселые, протяжные. Петр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: «Уберите ленты-то... Клади косу, закручивай... Кику, кикку давайте...» Детским тихим голосом заплакала Евдокия... У него жарко застучало сердце: запретное, женское, сырое – плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете... Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал ее дыхание... Сверху выскакнуло размалеванное лицо свахи с веселым ртом до ушей.

– Потерпи, государь, недолго томиться-то...

Покрывало упало, невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стала разбрасывать гостям. Женщины запели веселую. Закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал каравай и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.

Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел, – отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала:

– Благословите молодых вести к венцу.

Наталья Кирилловна и Ромодановский, Ларион и Евстигнея подняли образа. Петр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу. Благословив, Ларион Лопухин отстегнул от пояса плетъ и ударил дочь по спине три раза – больно.

– Ты, дочь моя, знала отцовскую плетъ, передаю тебя мужу, ныне не я за послушанье – бить тебя будет муж сей плетью...

И, поклонясь, передал плетъ Петру. Свечники подняли фонари, тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи – невесту. Лопухины хранили путь: девку одну, впопыхах за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули – слуги уволокли едва живую. Вся свадьба переходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час.

Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно, дуло сквозь бревенчатые стены, за решетками морозных окошек – мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну

только руку неведомой ему женщины под покрывалом – слабую, с двумя серебряными колечками, с крашеными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала, – синие жилки, коротенький мизинец... Дрожит, как овечий хвост... Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса...

...Вчера так и не удалось проститься с Анхен. Вдова Матильда, увидев подъезжавшего в простых саях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что-де погибают от бедности, нету дров да того-сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке... Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке... В спальне – огонек масляной светильни, на полу – медный таз, сброшенные туфельки, душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметало... Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожные ладони высыпал пригоршню червонных (Сонькин подарок Петру на свадьбу)... Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда – в аптеку, или больная запросит какой-нибудь еды заморской, – чтобы достать из-под земли...

Протопоп и поп Битка не жалели ладана, свечи виднелись, как в тумане, иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился – рука Евдокии дрожит не переставая. В груди у него будто выростал холодный пузырек гнева... Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку... По церкви пронесся испуганный шепот. У митрополита затряслась лысая голова, к нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился, певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены...

Повели вокруг аналая. Он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала... Обращались... Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустила на колени, припала лицом к сафьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому гласу, нараспев, слабо проговорил митрополит:

– Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвляти жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна...

Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала: «Гляди, гляди, государь», – и, подскокнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личико. Припухший от слез рот. Мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили... От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. «Откройся, царица, – нехорошо... Подними глазки...» Все тесно обступили молодых. «Бледна что-то», – проговорил Лев Кириллович... Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую... Она подняла карие глаза, застланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке, губы ее слабо пошевелились, отвечая... Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы, – она всхлипнула...

Снова пришлось идти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе – так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду, – теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену – лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис взял ее руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ромодановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело:

– Благословите вести молодых опочивать...

Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. По пути в темноте какая-то женщина, – не разобрать, – в вывороченной шубе, с хохотом, опять осыпала их из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Петр взял Евдокию за плечи, – она зажмурилась, откинулась, упираясь, – толкнул ее в сенник

и резко обернулся к гостям: у них пропал смех, когда они увидели его глаза, попятились... Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Черт знает, как было неприятно, нехорошо, – досада так и кипела... Свадьба проклятая! Потешились старым обычаем! И эта вот, – стоит девчонка, трясется, как овца! Он потащил с себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул:

– Да ты сядь... Авдотья... Чего боишься?

Евдокия коротко, послушно кивнула, но взлезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела.

– Есть хочешь?

– Да, – шепотом ответила она.

В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломил у нее ногу, сразу, – без хлеба, соли, – стал есть. Оторвал крыло:

– На.

– Спасибо...

3

В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа советовал идти берегом Днепра, строя осадные городки, но Василию Васильевичу и заикнуться было нельзя так медлить: скорее, скорее желал он добраться до Перекопа, в бою смыть бесславие.

В Москве еще ездили на санях, а здесь куриной слепотой забархатели курганы, ветер на зазеленевшей равнине рябил пелену поемных озер, кони шли по ним по колена. То и дело в прорывах весенних туч слепило солнце. Ах, и земля здесь была, черная, родящая, – золотое дно! Пригнать бы сюда лесных и болотных мужиков, – по уши ходили бы в зерне. Но кругом – ни живой души, только косяки журавлей, протяжно крича, пролетали в выси. Слезами пленников были политы эти степи, – из века в век миллионы русских людей проходили здесь, уводимые татарами в неволю, – на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет...

Казаки хвалили степь: «Здесь урожай шуточное дело – сам-двадцать, плюнь – дерево вырастет. Кабы не татары проклятые, понастроили бы мы здесь хуторов». Ратники из северных губерний дивились такой пышной земле. «Эта война справедливая, – говорили, – разве можно, чтоб такая земля лежала без пользы». Ополченцы-помещики приглядывали места для усадеб, спорили из-за дележа, бегали в шатер к Василию Васильевичу кланяться: «В случае бог даст завоевать эти места, пожаловал бы государь такой-то клин земли от такой-то балки до кургана с каменной бабой...»

В мае двадцатитысячное московское и украинское войско дошло до широкой, обильной пастбищами и водой Зеленой Долины. Здесь казаки привели к Василию Васильевичу «языка» – крепенького, лоснящегося от загара краснобородого татарина в ватном халате. Василий Васильевич поднес платочек к носу, чтобы не слышать бараньего татарского смрада, приказал допросить. С языка сорвали халат, – ощерив мелкие зубы, татарин завертел сизообритой головой. Угрюмый казак наотмашь полоснул его плетью по смуглым плечам. «Бачка, бачка, мой все говорил», – затараторил татарин. Казаки перевели: «Гололобий бачит, що орда стоит недалече и сам хан при ней...» Василий Васильевич перекрестился и послал за Мазепой. К вечеру развернутое войско, с конницей на правом и левом крыле, с обозом и пушками посредине, двинулось на татар.

Едва над низкой истоптанной равниной поднялся каравай оранжевого солнца, русские увидели татар. Конные кучки их съезжались и разъезжались. Василий Васильевич, стоя на возу, разглядывал в подзорную трубу пестрые халаты, острые шлемы, скуластые зло-веселые лица, конские хвосты на копьях, важных мулл в зеленых чалмах. Это была передовая часть орды.

Отряды конных поворачивали, съезжались, сбивались в плотную кучу. Поднялась пыль. Пошли! Скача, татары развертывались лавой. Донесся пронзительный вой. Их затягивало пылью, гонимой русским в лицо. Труба задрожала в руках Василия Васильевича. Его конь, привязанный к возу, шарахнулся, обрывая узду, – из шеи его торчала оперенная стрела... Наконец! – надрывно грохнули пушки, затрещали мушкеты, – все закрылось клубами белого дыма. О панцирь Василия Васильевича звякнуло железо стрелы – как раз против сердца. Содрогнувшись, перекрестил это место...

Стреляли более часу... Когда развеялся дым, на равнине билось несколько лошадей, валялось до сотни трупов. Татары, отбитые огнем, уходили за оком. Было приказано варить обед, поить коней. Раненых положили на телеги. Перед закатом снова двинулись с великим бережением к Черной Долине, где на речке Колончаке стоял хан с ордой.

Ночью поднялся сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно ворчало, погромыхивало. В непроглядных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину – песок, полынь, солончаки. Войска двигались медленно. В пятом часу раскололось небо, и в обоз упал огненный столб, – расплавил пушку, убило пушкарей, налетел вихрь, – валил с ног, рвало епанчи и шапки, сено с телег. Слепя глаза, полыхали молнии. Велено было поднять Донскую божью мать и обходить войско.

Дождь полил на рассвете. Сквозь гонимую ветром пелену его на правом крыле войска увидели орду: татары приближались полумесяцем. Не давши русским опомниться, опрокинули конницу и загнали передовой полк в обоз. Фитили пушек не горели, на полках ружей отсырел порох. Плеск дождя заглушал крики раненых. Перед тройным рядом телег татары остановились. У них отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы.

Василий Васильевич пеший метался по обозу, бил плетью пушкарей, хватался за колеса, вырывал фитили. В глаза, в рот хлестало дождем. Все же пушкарки ухитрились, – накрывшись тулупами, высекли огонь, подсыпали сухого пороха и – бухнули пушки свинцовыми пулями по татарским коням... На левом крыле отчаянно рубился Мазепа с казаками. И вот протяжно закричали муллы, – татары отступили, скрывались в ненастной мгле.

4

«Государю моему, радости, царю Петру Алексеевичу... Здравствуй, свет мой, на множество лет...»

Евдокия измаялась, писавши. Щепоть, все три пальца, коими плотно держала гусяное перо у самого конца, измазала чернилами. Портила третий лист, – либо буквы выходили не те, либо сажала пятна. А хотелось написать так приветливо, чтобы Петенька порадовался письму.

Но чернилами на бумаге разве скажешь, чем полно сердце? На дворе – апрель. Березы, как в цыплящем пуху, – зазеленели. Плывут снежные облака с синими донышками.

Евдокия глядела на них, глядела, и ресницы налились слезами, – должно быть, сдуру... Покосилась на дверь, – не вошла бы свекровь, не увидела... Рукавом вытерла глаза. Наморщила лобик.

... Чего бы еще написать ему?.. Уехал, голубчик, на Переяславское озеро и не отписывает, когда ждать его назад... А то бы вместе говели, заутреню стояли бы... Разговлялись... (Евдокия вспомнила курицу, – как ели ее после венчания, – покраснела и про себя засмеялась...) На первый день можно позвать девок – играть на лугу в подкучки, катать яйца... Песни, хороводы. На качелях – смеяться, в жмурки бегать. Написать разве про это?.. Петенька, милый, голубчик, приезжа-ай, соскучила-ась... Разве напишешь! – и букв для этого нет таких...

Она опять взяла перо и, шевеля губами, вывела:

«Просим милости: пожалуй, государь, буди к нам, не замешкав... Женишка твоя, Дунька, челом бьет...»

Перечла и обрадовалась, – очень хорошо написано. Батюшки, оглашенная! – а про свекровь-то не помянула. Переписывай теперь в четвертый раз... Ах, свекровь, матушка, Наталья Кирилловна, – суровенькая!.. Как ни ластись, – все чего-нибудь найдет, что не ладно... Почему, мол, тоща? И не тоща совсем: все, что надо, – кругленькое... Почему Петруша на второй месяц от тебя ускакал на Переяславское озеро? Что же ты: затхлая или, может быть, дура тоскливая, что от тебя мужу, как от чумной язвы, на край света надо бежать?.. И не дура, и не язва... Сами виноваты, – зачем допустили к нему Лефорту, Алексашку да немцев, они и сманили лапушку на Переяславское озеро, и хуже еще куда-нибудь сманят.

Евдокия сердито окунула перо. Но подняла глаза, – сквозь зелень берез жидкий свет падал в раскрытое окно, на подоконнике надувал горло, топтался голубь, и еще какие-то птицы посвистывали... Пахло лугами... И на четвертый чистый листок – кап слезища... Вот наказание!..

5

Что ни день – письмо от жены или матери: без тебя, мол, скучно, скоро ли вернешься? Сходили бы вместе к Троице... Скука старозаветная! Петру не то что отвечать, – читать эти письма было недосуг. Жил он в новорубленной избе на самой верфи на берегу широкого Переяславского озера, где почти оконченные два корабля стояли на стапелях и стрелах. Крыли палубы, кончали резать на корме деревянные морды. Третий корабль, «Стольный град Прешпург», был уже спущен, – тридцать восемь шагов по ватерлинии, с крутым носом, украшенным золоченой морской девкой, с высокой кормой, где сверху пристроена кают-компания. На плоской крыше ее, огороженной точеными перилами, – адмиральский мостик и большой стеклянный фонарь. Под верхней палубой с каждой стороны в откинутые люки высывалось по восьми пушек. Сходящиеся кверху борта черно блестели смолой.

Поутру, когда чуть дымилось озеро, трехмачтовый корабль будто висел в воздухе, как на дивных голландских картинах, что подарил Борис Голицын... Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Как назло, вторую неделю листок не шевелило на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами. Поднятые паруса только плескались, повисали. Петр не отходил от Картена Брандта. Старику немоглось еще с февраля, – разрывало грудь мокрым кашлем. Все же, закутанный в тулупчик, он весь день был на верфи, – сердился, кричал, а когда и дрался за леность или глупость. Особым указом пригнали на верфь душ полтора монастырских крестьян: плотников, продольных пильщиков, кузнецов, землекопов и надежных баб – шить паруса. Полсотни потешных, отписанных от полков, обучались здесь морскому делу: травить и крепить концы, лазить на мачты, слушать команду. Учил их иноземец, выходец из Португалии, – Памбург, крючконосый, с черными, как щетка, усами, злой, сатана, морской разбойник. Русские про него говорили, что будто бы его не один раз за его дела вешали, да черт ему помог – жив остался, попал к нам.

Петру бешено не терпелось. Рабочих чуть свет будили барабаном, а то и палками. Весенние ночи короткие, – многие люди падали от усталости. Никита Зотов не поспевал писать – его в. г. ц. и в. к. всея В. М. и Б. Р. с. – указы соседним помещикам, чтобы ставили корм, – везли бы на верфь хлеб, птицу, мясо. Помещики с перепугу везли. Труднее было доставать денег. Хотя Софья и рада была, что братец забился еще далее от Москвы, где бы ему – перевернуться на потешном корабле, но денег в приказе Большого дворца кот наплакал: все поглотила крымская война.

Когда случалось Францу Лефорту вырваться со службы и прискакать на Переяславскую верфь, – начиналось веселье. Он привозил вин, колбас, сластей и – с подмигиванием – поклон

от Анны Монс: выздоровела, еще краше стала, и просит-де милости герра Петера – принять в подарок два цитрона.

В новорубленной избе в обед и ужин щедро поднимали стаканы за великий переяславский флот. Придумали для него особенный флаг – в три полотнища: белое, синее и красное. Иноземцы рассказывали про былые плавания, бури и морские битвы. Памбург, расставив ноги, шевеля усами, кричал по-португальски, будто и в самом деле на пиратском корабле. Петр пил эти речи глазами и ушами. Откуда бы ему, сухопутному, так любить море? Но он по ночам, лежа на полатах рядом с Алексашкой, во сне видел волны, тучи над водным простором, призраки проносящихся кораблей.

Калачом не заманить в Преображенское. Когда очень досаждали с письмами, – отписывался:

«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей матушке царице Наталье Кирилловне, недостойный сынишка твой Петрунька, в работе пребывающий, – благословения прошу, о твоём здравии слышать желаю. А что изволила мне приказывать, чтоп мне быть в Преображенском, и я быть готоф, только гей гей дело есть: суды все в отделе, за канатами дело стоит. И о том милости прошу, чтоп те канаты ис Пушкарского приказа не мешкав прислали бы. И с тем житье наше продолжица. По сем благословения прошу. Недостойный Петрус».

6

Теперь мимо избы Ивашки Бровкина ходили, – снимали шапку. Вся деревня знала: «Ивашкин сын – Алексей – сильненький, у царя правая рука, Ивашке только мигнуть – сейчас ему денег – сколько нужно, столько отсыпет». На Алешкины деньги (три рубля с полтиной) Бровкин купил телку добрую – за полтора рубля, овцу – три гривенника с пятаком, четырех поросят по три алтына, справил сбрую, поставил новые ворота и у мужиков под яровое снял восемь десятин земли, дав рубль деньгами, ведро водки и обещав пятый сноп с урожая.

Стал на ноги человек. Подпоясывался не лыком по кострецу, а московским кушаком под груди, чтобы выпирал сытый живот. Шапку надвигал на самые брови, бороду задира. Такому поклонись. И еще говорил: «Погоди, по осени съезжу к сыну, возьму денег, – мельницу поставлю». Волковский управитель его уже не тыкал – Ивашкой, но звал уклончиво Бровкиным. От барщины освободил...

И сыновья – помощники – подрастали. Яков всю эту зиму ходил в соседнюю деревню к дьячку – учился грамоте, Гаврилка вытягивался в красивого парня, меньшей, Артамошка, тихоня, был тоже не без ума. Детьми Ивашку бог не обидел. К дочери, Саньке, уж сватались, но по нынешнему положению отдавать ее за своего брата – мужика-лапотника, – это еще надо было подумать...

В июле прошел слух, что войско возвращается из Крыма. Стали ждать ратников, отцов и сыновей. По вечерам бабы выходили на пригорок – глядеть на дорогу. От бродящего божьего человека узнали, что в соседних деревнях действительно вернулись. Начали бабы плакать: «Наших-то побили...» Наконец появился на деревне ратник Цыган, весь зарос железной бородой, глаз выбит, рубаха, портки сгнили на теле.

Бровкин с семьей ужинали на дворе, хлебали щи с солониной. В ворота постучали: «Во имя отца и сына и святого духа...» Ивашка опустил ложку, подозрительно поглядел на ворота.

– Аминь, – ответил. И громче: – Мотри, у нас кобели злые, постерегись.

Яшка отодвинул шеколду, и вошел Цыган. Оглядел двор, семейство и, раскрыв рот с выбитыми зубами, – гаркнул хрипло:

– Здорово! – Сел на чурбан у стола. – На прохладе ужинаете? В избе мухи, что ли, надоедают?

Ивашка зашевелил бровями. Но тут Санька самовольно пододвинула Цыгану чашку со щами, вытерла передником ложку, подала.

– Откушай, батюшка, с нами.

Бровкин удивился Санькиной смелости... «Ужо, – подумал, – за косы возьму!.. Эдак-то всякому кидать наше добро...» Но спорить постеснялся. Цыган был голоден, ел, – жмурился...

– Воевали? – спросил Бровкин.

– Воевали... (И опять – за щи.)

– Ну как все-таки? – повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин.

– Обыкновенно. Как воют, так и воевали.

– Одолели татар-то?

– Одолели... Своих под Перекопом тысяч двадцать уложили, да столько же, когда назад шли...

– Ах, ах. – Бровкин покачал головой. – А у нас говорят: хан покорился нашим...

Цыган открыл желтые редкие зубы.

– Ты тех, кто в Крыму гнить остался, спроси, как нам хан покорился... Жара, воды нет, слева – гнилое море, справа – Черное, пить эту воду нельзя, колодцы татары падалью забили... Стоим за Перекопом – ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи, дохли... Повоевали...

Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровавым глазом и другим, – мертвыми веками, – на Саньку: «Спасибо, девка...» Облокотился.

– Иван... Я в поход уходил, – корова у меня оставалась...

– Да мы говорили управителю: вернешься, как же тебе без коровенки-то? Не послушал, взял.

– Так... А свиньи? Боров, две свиньи, – я мир просил за ними присмотреть...

– Глядели, голубок, глядели... Управитель столовыми кормами нас дуже притеснил...

Мы думали, – может, тебя на войне-то убьют...

– И свиней моих Волков сожрал?

– Скушал, скушал.

– Так... – Цыган залез в нечесанные железные волосы, поскреб: – Ладно... Иван!

– Аюшки?

– Ты помалкивай, что я к тебе заходил.

– А кому мне говорить-то? Я и так всегда помалкиваю.

Цыган встал. Покосился на Саньку. Тихо пошел к воротам. И там с угрозой:

– Смотри – помалкивай, Иван... Прощай. – И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне.

7

Овсей Ржов, пошатываясь, стоял у ворот харчевни, что на Варварке, считал деньги в ладони. Подошли стрелецкие пятидесятники, Никита Гладкий и Кузьма Чермный.

– Здорово, Овсей.

– Брось полушки считать, пойдем с нами.

Гладкий шепнул:

– Поговорить нужно, нехорошие дела слышны...

Чермный брякнул в кармане серебром, захохотал:

– Погулять хватит...

– А вы не ограбили кого? – спросил Овсей. – Ах, стрельцы, что вы делаете!..

– Дурак, – сказал Гладкий, – мы на карауле во дворце стояли. Понял? – И оба захохотали опять. Повели Овсея в харчевню. Сели в углу. Суровый старец-целовальник принес штоф вина и свечу. Чермный сейчас же свечу погасил и нагнулся к столу, слушая, что зашептал Гладкий.

– Жалко, тебя не было с нами на карауле. Стоим... Выходит Федор Левонтьевич Шакловитый. «Царевна, говорит, за вашу верную непорочную службу жалует по пяти рублев...» И подает мешок серебра... Мы молчим, – к чему он клонит? И он так-то горько вздохнул: «Ах, говорит, стрельцы, слуги верные, недолго вам жить с женами на богатых дворах за Москвой-рекой...»

– Это как так недолго? – испугавшись, спросил Овсей.

– А вот как... «Хотят, говорит, вас, стрельцов, перевести, разослать по городкам, меня высадить из Стрелецкого приказа, а царевну сослать в монастырь... И мутит всем старая царица Наталья Кирилловна... Она и Петра для этого женила... По ее, говорит, наговору слуги, – только мы не можем добиться кто, – царя Ивана поят медленным зельем, двери ему завалили дровами, поленьями, и ходит он через черное крыльцо... Царь Иван – не жилец на этом свете. Кто будет вас, стрельцов, любить? Кто заступится?»

– А Василий Васильевич? – спросил Овсей.

– Одного они человека боялись, – Василия Васильевича. А ныне бояре его с головой хотят выдать за крымское бесчестье... Накачают нам Петра на шею...

– Ну, это тоже... Погодят! Нам по набату не в первый раз подниматься...

– Тише ори. – Гладкий притянул Овсея за ворот и – едва слышно: – Одним набатом нам не спастись, хоть и всех побьем, как семь лет тому назад, а корня не выведем... Надо уходить старую медведицу... И медвежонку чего спускать? За чем дело стало? И его на рогатину, – надо себя спасать, ребята...

Темны, страшны были слова Никиты Гладкого. Овсей задрожал. Чермный налил из штофа в оловянные стаканчики.

– Это дело без шума надо вершить... Подобрать полсотни верных людей, ночью и запалить Преображенское. В огне их ножами возьмем – чисто...

8

Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам, ополченцы-помещики вернулись в усадьбы, а по Курской и Рязанской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные язвы, раны и с воем протягивали милосердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки.

– Щупайте, православные, – вот она, стрела, в груди...

– Милостивцы, оба глаза мои вытекли, по голове шлопугой били меня бесчеловечно, – о-о-о!

– Нюхай, купец, гляди, по локоть рука сгнила...

– А вот у меня из спины ремни резали...

– Язвы от кобыльего молока... Жалейте меня, благодетели!..

Ужасались добрые прихожане на такое невиданное калечество, раздавали полушки. А по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами. Грабили на дорогах, на мостах, в темных переулках. Толпами искалеченные воины тянулись на московские базары.

Но не сытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрывалось, иные купцы обезденежели от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет. Хлеб привозили – с мусором, мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче, постнее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину, – с души воротило. Появилась дурная муха, – от ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах – не протолкаться, а смотришь, – продают одни банные веники. Озлобленно, праздно, голодно шумел огромный город.

9

Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферязи – выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Одоевский:

– Ты прислушайся, что говорят... Не послушав – не кричи...

– Ладно.

– Так и руби: царица, мол, да Лев Кириллович весь хлеб скупили, Москву нарочно голодом морят... Да про дурную муху не забудь, – с ихнего, мол, волшебства...

– Ладно...

Тыртов, взглянув холодными глазами между ушей жеребца, нагнулся и во весь мах пустил его в открытые ворота. На улице обдало пылью, вонью. Какой-то бродяга, по пояс голый, в багровых пятнах, закричал, расталкивая народ, чтобы кинуться под копыта. Тыртов вытянул его нагайкой. Со всех сторон полезли к богатому боярину, протягивая земляные, шелудивые ладони... Нахмуясь, подбоченясь, Михаил медленно пробирался в плотной толпе.

– Нарядный, поделись...

– Кинь полушку...

– Вот я ртом поймаю...

– Дай деньгу, дай, дай...

– Смотри, дерьмом замажу, – дай лучше...

– Горсть вшей продам! Купи – даром отдам!

– Топчи меня, топчи, жрать хочу...

Конь, беспокоясь, грыз удила, косился гордым зрачком на машущие лохмотья, взъерошенные головы, страшные лица. Все наглее лезли нищие и бродяги. Так он проплыл до конца Ильинки. Здесь на столбе под иконкой была прибита грамота. Какой-то благообразный человек, перекрикивая, читал:

– «Мы, великие государи, тебя, ближнего боярина и сберегателя, князя Василия Васильевича Голицына, за твою к нам многую и радетьельную службу, за то, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою *не нечаянно и никогда неслыханно* от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены, и побеждены, и прогнаны...»

Хрипучий голос из толпы:

– Кто поражены, побеждены? Мы али татары?

Толпа тотчас загудела сердито...

– Это где это мы татар победили, когда?

– Мы их и в лицо-то не видали в Крыму...

– Видели, как бежали от них без памяти...

– А кто дурак этот, – грамоту читает?

– Подьячий из Кремля...

– Голицынский холоп, пес верный...

– Ну-ка, потяни его за полу...

Благообразный человек, срывая голос, читал:

– «... татары сами себе и жилищам своим явились разорителями, в Перекопи посады и села пожгли и, исполняясь отчаяния и ужаса, со своими погаными ордами тебе не показались... И что ты со своими ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами, не хуже Моисея, изведшего израильских людей из земли Египетской, возвратился в целости, – за все то милостиво и премилостиво тебя похваляем...»

Кривой черный человек с железными волосами опять крикнул:

– Чтец, а про меня в грамоте не написано?

Засмеялись. Кое-кто, выругавшись, отошел. Ком грязи ударился в грамоту... «Стража!» – закричал чтец, загораясь рукой... Тыртов, раздвигая конем народ, стал пробираться к кривому. Но Цыган только ощерил на него осколки зубов и пропал. Кто-то схватил за узду: «Вот этого бы раздеть!..» Кто-то шильцем кольнул коня, – тот забил, храпя, – взвился. Свистнули по-разбойничьи. Камень, пролетев, царапнул щеку. Под рев, свист и гиканье Тыртов вылетел из толпы.

У Никольских ворот он увидел верхами Степку Одоевского и бледного горбоносого человека с красивыми усиками. По неживым складкам одежды было заметно, что под ферязью на нем – кольчуга. Тыртов сорвал шапку и поклонился до конской гривы Федору Левонтьевичу Шакловитому. Умное лицо его было хмуро, нижняя губа плотно прикрывала верхнюю. Недобро шурился на толпу. Одоевский спросил:

– Ты кричал им, Мишка?

– Поди сам покричи... (У Тыртова горели щеки.) Им, дьяволам голодным, все равно, – что царевна Софья, что Петр... Стрельцов бы сюда сотни две – разогнать эту сволочь, и весь разговор...

– Половчее к ним надо послать человека, – сквозь зубы сказал Шакловитый, – подбивать их идти в Преображенское, хлеба просить... Пускай их потешные встретят... По царя Петра приказу немцы-то русских бьют, – так мы и скажем... (Одоевский засмеялся.) Ступайте, не мешкая, кричите стрельцам про это... А я пошлю на базары надежных людей... Народ надо из Москвы удалить, большого набата нам не надо, одними стрельцами справимся...

10

Из лесной чащи на берег Переяславского озера выехала вся в пыли дорожная карета разномастной четверней. Степенный кучер и босой мужик верховой, сидевший на левой выносной, оглядывались. Повсюду разбросаны бревна и доски, кучи щепы, разбитые смоляные бочки. И – ни живой души, только кое-где слышался густой храп. Невдалеке от берега стояли четыре осмоленных корабля, их высокие кормовые части, украшенные резным деревом, с квадратными окошечками, отражались в зеленоватой воде. Между мачтами летали чайки.

Из кареты вылез Лев Кириллович, морщась, потер поясницу, – намяло дорогой: хоть и не стар он еще был, но тучен от невоздержанности к питию. Ждал, когда кто-нибудь подойдет. Ленясь сам позвать, кряхтел. Кучер сказал, прищулив глаз на солнце:

– Отдыхают... Время обеденное...

Действительно, в холодке, из-за бревен и бочек виднелись то ноги в лаптях, то задранная на голой пояснице грязная рубаха, то нечесаная голова. Верховой мужик, выручая ленивого боярина, позвал бойко:

– Э-эй, кто тут живой, православные...

Тогда близ кареты из-за канатов поднялось пропитое нерусское лицо с черными усами, по четверти в каждую сторону, зарычало по-ломаному:

– Што кричишь, турак...

Кучер оглянулся на боярина, – не стегануть ли этого кнутом. Но Лев Кириллович отклонил: кто их разберет, – у царя Петра и генералы пьяные на земле валяются. Спросил, не роняя достоинства, где царь.

– А шерг его снает, – ответила усатая голова и опять повалилась на канаты. Лев Кириллович пошел по берегу, ища человека русского вида, и, уже не стесняясь, пхнул одного в лаптях. Вскочил, моргая, мужик-плотник, ответил:

– Утрась Петр Алексеевич плавали, из пушек стреляли, видно, утомились, почивают.

Петра нашли в лодке – он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и дожидался, когда племянник изволит прийти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые, в башмаках набосо, тощие ноги. Раза два потер ими, во сне отбиваясь от мух. И это в особенности удручило Льва Кирилловича... Царство – на волоске, а ему, вишь, мухи надоедают...

Бояре нынче уже громко говорили в Кремле: «Петру – прямая дорога в монастырь. Кутилка, солдатский кум, в зернь в кабаке проиграет царский венец». По Кремлю снова шатались пьяные стрельцы, нагло подбоченивались, когда мимо проходил кто-либо из верных. Софья, страшная хмельными этими саблями, безумствовала. Бесславный воитель, Голицын, мрачный, как ворон, сидел у себя в палатах, обитых медью, допускал перед очи одного Шакловитого да Сильвестра Медведева. Все понимали, что сейчас либо уходит ему от дел со срамом, либо кровью добывать престол. Над Кремлем нависала грозная туча...

А этот в лодке спит, – хоть бы ему что...

– А, дяденька, Кот Кирилыч, здравствуйте!

Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится, кончики едва пробившихся усиков закручены...

– Зачем приехал?

– За тобой, государь, – строго отвечивал Лев Кириллович, – и не за милостью какой-нибудь, а такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно, без тебя не вернусь...

Полное лицо Льва Кирилловича задрожало, на висках из-под шапки выступил пот. Петр изумленно взглянул: эге, видно, дела там плохи, если ленивый дядюшка так расколохался. Петр перегнулся через край лодки и горстью напиллся воды, поддернул штаны.

– Ну, ладно, приеду на днях...

– Не на днях, – сегодня. Часу нельзя терять (Лев Кириллович придвинулся, едва доставая до уха племяннику). – В прошлую ночь под самым Преображенским, на той стороне Яузы, обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. (Ухо и шея Петра мгновенно побагровели.) У нас преображенцы на карауле всю ночь фитили жгли, кричали в рожки... Те-то и поостереглись переходить речку... А уж после в Москве слышали, – стрелец Овсей Ржов рассказывал: у них так сговорено, – как учинится в Преображенском дворце ночью крик, то быть им готовым и, кого станут давать из дворца, тех рубить, кто ни попал...

Петр вдруг закрыл рукой глаза, – пальцы так и втиснулись. Лев Кириллович продолжал рассказывать про то, как Шакловитый пускает по базарам крикунов – подговаривать голодный народ идти громить Преображенское.

– Народ стал отчаянный, одна забота – дорваться, грабить. А Софья только и ждет новой смуты... Ее ближние стрельцы на Спасской башне к набатному колоколу уж и веревку привязали. Они бы давно ударили, да стрелецкие полки, гостиные сотни да посадки сомневаются: набат-то всем надоел... Время такое, – бояре как в осаде сидят по дворам... А уж сестрица, Наталья Кирилловна, без памяти... (Лев Кириллович прильнул к его плечу, по-родственному вспыхнул.) Петруша, богом тебя молим: покажись во всем царском сане, прикрикни... По царю соскучились, – топни ножкой, а уж мы подсобим... Не то что нам, – врагам нашим надоел Васька Голицын, Сонька поперек горла воткнулась...

Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шепот дяденьки навел страх... Будто снова услышал он крики такие, что волосы встали дыбом, видел наискось раскрытые рты, раздутые шеи, лезвия уставленных копий, тяжело падающее на них тело Матвеева... Телесный ужас детских дней!.. И у самого у него рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом.

– Петенька! Государь, господь с тобой! – Лев Кириллович обхватил подпрыгивающие плечи племянника. Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Усатый

Памбург принес водки в черепке. Петр, как маленький, только брызгал, не пил, – так стиснуты были зубы. Его оттащили к карете Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих... Потом сел, обхватил костлявые колени. Глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей. Откуда-то появился, пошатываясь, Никита Зотов. По случаю утрешней потешной баталии он был в князь-папской хламиде, нечесан, в космах, в бороде – сено! Присев около Петра, глядел на него, точно бородатая баба, – с жалостью.

– Петр Алексеевич, послушай меня, дурака...

– Иди к черту...

– Иду, батюшка... Вот мы и доигрались... Бросать надо... Ребячьи то игры...

Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая...

11

В Успенском соборе отходила обедня. Патриарший хор на левом клиросе и государевых жильцов – на правом попеременно оглашали темно-золотые своды то отроческим сладкогласием, то ревом крепких глоток. С тихим потрескиванием костры свечей перед золотыми окладами озаряли разгоряченные лица бояр. Служил патриарх, – будто великомученик суздальского письма сошел с доски, живыми были глаза, да слабые руки, да узкая борода до пупа, шевелившаяся по тяжелой ризе. Двенадцать великанов-дьяконов, буйноволосые и звероподобные, звякали тяжелыми кадилами. В клубах ладана плыл патриарх и по сторонам его митрополиты и архиереи. Возгласами архидьякона наполнялся, как крепким вином, весь собор. Сие был Третий Рим. Веселилось надменное русское сердце.

На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее – царь Иван, – полуприкрыл веки, скулы его горели на больном лице. Налево стоял долговязый Петр, – будто на святках одели мужика в царское платье не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него: несуразный выюноша, и стоять не может, топчется, как гусь, косолапо, шею не держит... Софья по крайней мере понимает державный чин. Под ногами, чтобы выше быть, скамеечка. Лик покойный, ладони сложены на груди, и руки, и грудь, плечи, уши, венец жарко пылают камнями. Будто – сама владычица Казанская стоит под шатром... А у этого, у кукуйского кутилки, желваки выпячены с углов рта, будто так сейчас и укусит, да – кусачка слаба... Глаз злой, гордый... И – видно всем – и в мыслях нет благочестия...

Обедня отошла. Засуетились церковные служки. Заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый дьяконами, поклонился царям, прося их взять, по обычаю, образ Казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она, не шевелясь, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке...

– Не донесу я, – сказал Иван кротко, – уроню...

Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софье. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шакловитый, Иван Милославский, – все в собольих шубах, – тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо.

– Отдай... (Все услышали, – сказал кто-то невнятно и глухо.) Отдай... (Уж громче, ненавистнее.) – И, когда стали глядеть на Петра, поняли, что – он... Лицо – багровое, взором крутит, как филин, схватился за витой золотой столбик шатра, и шатер ходил ходуном...

Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор, отрывисто, по-подлому, Петр проговорил:

– Иван не идет, я пойду... Ты иди к себе... Отдай икону... Это – не женское дело... Я не позволю...

Подняв глаза, сладко, будто не от мира сего, Софья молвила:

– Певчие, пойте великий выход...

И, спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. (Бояре – в платочек: смех и грех.) Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал:

– Полно, Петруша, помирись ты с ней... Что ссоритесь, что делите...

12

Шакловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и покусывая холеную воронова крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Страусовые перья над балдахинном кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке, на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава.

– Нет, – проговорил он после долгого ожидания, – не могу я слушать эти речи... Бог дал жизнь, один Бог у него и отнимет...

Шакловитый с досадой ударил себя шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался:

– Сказано: «Пошлю мстителя», – сие разумеет так: не богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека...

– В храме орет, как в кабаке, – горячо подхватил Шакловитый. – Софья Алексеевна до сих пор не опомнится, – как напужал... Выходили волчонка, – ему лихое дело начать... Ждите его на Москве с потешными, тысячи три их, если не более. Жеребцы стоялые... Так я говорю, Сильвестр?

– Ждите от него разорения людям и уязвления православной церкви и крови пролитой – потоки... Когда гороскоп его составлял, – волосы у меня торчком поднялись, слова-то, цифры, линии – кровью набухали... Ей-ей... Давно сказано: ждите сего гороскопа...

Василий Васильевич приподнялся на локте, бледный, землистый.

– Ты не врешь, поп? (Сильвестр потряс наперсным крестом.) Про что говоришь-то?

– Давно мы ждали этого гороскопа, – повторил Медведев до того странно, что у Василия Васильевича лихорадка морозом подрала по хребту.

Шакловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку под мышку.

– Поздно будет, Василий Васильевич... Смотри – торчат нашим головам на кольях... Медлишь, робеешь, – и нам руки связал...

Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил:

– Я вам руки не связываю.

Больше от него не добились ни слова. Шакловитый ушел, за окном было слышно, – бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме: двуличен-де, глуп, слаб. Когда его в ризнице одевают, – митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселье, как вертоград...

– Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным... (Щекотал ухо сандаловой, розовым маслом напитанной бородой...) Скажем, я, – нет и нет, не отказался бы от ризы патриаршей... Процвели бы... Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого

на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках... Ты с Силиным поговори... А что про Иоакима, – так ему каждую субботу четыре ведра карасей возят тайно из Преображенского... И он принимает...

Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза. Прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму...

«Отказаться от великих замыслов, уехать в вотчины? Пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся... Ну, а срам, а бесчестье? То полки водил, скажут, теперь гусей пасет, князь-та, Василий-та... (Дрожала свеча в похолодевшей руке.) За корону хватался, – кур щупает... (Стукнув зубами, сбежал на несколько ступеней.) Что ж это такое, – остается: как хочет Софья, Шакловитый, Милославские?.. Убить! Не его, так – он? А ну как не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело... Господи, просвети... (Крестится, прислонясь к кирпичной стене.) Заболеть бы горячкой на это время...»

Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу...

– Боярин, милостивый, за что ты меня?.. Да уж я, кажется...

– Встань...

Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь. Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прилюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно, и за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно...

– На солнце глядел? – спросил Василий Васильевич...

Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя. Опять встал, – низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый, – от переносья густые брови взлетели наискось до курчавых волос над ушами, глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством.

– Раненько утром водили меня на колокольню, да в другой раз – в самый полдень. Что видел, не утаю...

– Сумнительно, – проговорил Василий Васильевич, – светило небесное, какие же на нем знаки? Врешь ты...

– Знаки, знаки... Мы привычные сквозь пальцы глядеть, и это вроде как пророчество из меня является, гляжу, как в книгу... Конечно, другие и в квасной гуще видят и в решето против месяца... Умеючи – отчего же... Ах, батюшка, – Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя. – Ах, милостивец... Все видел, все знаю... Стоит один царь, длинен, темен, и венец на нем на спине мотается... Другой царь – светел... ах, сказать страшно... три свечи у него в головке... А промеж царей – двое, сцепились и колесом так и ходят, так и ходят, будто муж и жена. И оба в венцах, и солнце промеж их так и жжет...

– Не понимаю, – чего городишь. – Василий Васильевич, подняв свечу, попятился.

– Все по-твоему сбудется... Ничего не бойся... Стой крепко... А травки мои подсыпай, подсыпай, – вернее будет... Не давай девке покою, горячи ее, горячи... (Василий Васильевич был уже у двери...) Милостивец, цепь-то вели снять с меня... (Он рванулся, как цепной кобель.) Батюшка, пищи вели прислать, со вчерашнего не евши...

Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом...

13

Стрелецкие пятидесятники, Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Обросим Петров, из сил выбивались, мучили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь: «Что, мол, вы тут – с бабами спите, а всем скоро головы пооторвут...» Страшно кричали на съезде двора: «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, а рухлядь сносить в дуваны... Нынче опять – воля...» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу...

Но стрельцы, как сырые дрова, шипели, не загорались – не занималось зарево бунта. Да и боялись: «Гляди, сколько на Москве подлого народу, ударь в набат, – все разнесут, свое добро не отобьешь...»

Однажды у Мясницких ворот рано поутру нашли четырех караульных стрельцов – без памяти, проломаны головы, порублены суставы. Приволокли их в Стремянный полк, в съезжую избу. Послали за Федором Левонтьевичем Шакловитым, и при нем они рассказали:

«Стоим у ворот на карауле, Боже упаси, не выпивши. А время – заря... Вдруг с пустыря налетают верхоконные и, здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями... Злее всех был один, толстый, в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его унимали: „Полно-де бить, Лев Кириллович, убьешь до смерти...“ А он кричит: „Не то еще будет, заплачу проклятым стрельцам за моих братьев“».

Шакловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да, – говорил, – видно, будут и вас скоро таскать за ноги...»

Чудно. Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать. А уж Гладкий, Петров и Чермный разносили по слободам, что Лев Кириллович с товарищами ездят по ночам, приглядываются, – узнают, кто семь лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти... «Конечно, – отвечали стрельцы смиренно, – за воровство-то по голове не гладят...»

Прошло дня три, и опять у Покровских ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих... Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы вконец испугались, не вышли... По ночам с караулов стали убегать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее сотни и с пушкой... Будто с глазу – совсем осмирнели стрельцы...

А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уже признали: Степку Одоевского, Мишку Тыртова, что жил у него в любовниках, Петра Андреевича Толстого, а вот, в белом кафтане, будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвейка Шошин, близкий человек царевны. Руками разводили, – чего же они добиваются этим озорством?

Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по пятисот. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства ручные гранаты и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти, но только они не взорвались. Все ждали чего-то, затаились.

В Преображенском, с приездом Петра, не переставая стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское громить амбары, но, не доходя Яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело – скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал: Софья ли Петра, Петр ли Софью... Лишь бы что-нибудь утвердилось...

14

Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал: «Стольник царя Петра, с царским указом...» На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту к Неглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церквочек. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо, у длинной избы Стремянного полка, сидели люди с секирами.

Волкову было приказано (посылался за пустым делом в Кремль) осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын, – он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное жите там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера, как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, – едва отпоили с уголька... Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались, – и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы, – деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил ни на двор, ни в поле. И все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков сел на коня, Петр крикнул в окошко:

– Софья будет спрашивать про меня, – молчи... На дыбу поднимут, молчи...

Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцей... «Стой, стой!» – страшно закричали из темноты. Наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, тудыть...» – схватил лошадь под уздцы...

– Но, но, постерегись, я царский стольник...

Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро...

«Кто таков?..» – «Стольник?..» – «Его нам и надо...» – «Сам залетел...» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался, – дело плохо. Овсей, – не выпуская узды:

– Эй, кто резвый, сбегайте, поищите Никиту Гладкого.

Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра, с завалины съезжей избы, откидывая рогожки, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли не шумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел:

– Нехорошо поступаете, стрельцы... По две головы, что ли, у вас!.. Я везу царский указ – хватаете: это воровство, измена...

– Замолчи. – Овсей замахнулся самопалом.

Старый стрелец остановил его:

– Не трогай, он человек подневольный.

– То-то, что я подневольный. Я царю слуга. А вы кому слуги? Смотрите, стрельцы, не прогадайте. Был хорош Хованский, а что с ним сделали? Были вы хороши, а где столб на Красной площади, где ваши вольности?

– Буде врать, сука! – закричал Овсей.

– Вас жалею. Мало вас Голицын таскал по степям... Подсобляйте ему, подсобляйте, он вас в третий поход поведет... Будете вы по дворам куски просить... (Стрельцы молчали еще угрюмее.) Царь Петр не маленький... Прошло время, когда он вас пужался... Как бы вы его теперь не напужались... Ох, стрельцы, – уймите это воровство...

– И-эх! – вскрикнул кто-то так дико, что стрельцы вздрогнули.

Волков захрапел, поднял руки, завалился. Сзади на его коня с бегу прыжком вскочил Никита Гладкий, схватил за шею, вместе с Волковым повалился на землю. Перевернувшись,

сел на него, ударил в зубы, сбил шапку, сорвал саблю. Вскочил, загоготал, потрясая саблей, – широколобый, рябой, большеротый.

– Видели, – вот его сабля... Я и царя Петра так же оборву... Бери его, тащи в Кремль к Федору Левонтьевичу...

Стрельцы подняли Волкова, повели с холма вдоль китайгородской стены, мимо усеянных вороньими гнездами ветел, что раскидывались, корявые и древние, по берегу заплесневелой Неглинной, мимо виселиц и колес на шестах. Сзади шел Гладкий, от него несло перегаром. В Кремль вошли через Кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втолкнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Гладкий ушел во дворец. У двери стал морщинистый, смиренный караульный. Облокотясь на секиру, сказал тихо:

– Ты не сердчай, смотри, – нам ведь самим податься некуда... Прикажут, – бьешь... Голодно, боярин... Четырнадцать душ семья-то... Раньше приторговывали, а теперь, – что пожалуют, на то и живем... А мы разве воруем против царя Петра... Да владей нами кто хошь, – вот нынче-то как...

Вошла Софья, – по-девичьему – простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом. Хмуро села к столу. За ней – красавец Шакловитый, белозубо улыбаясь. На нем был крапивного цвета стрелецкий кафтан. Сел рядом с Софьей. Никита Гладкий, придурковато, – слуга верный, – отошел к притолоке. Шакловитый вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана.

– Государыня прочла письмецо, дело пустое. Что же так спешно погнали тебя в ночную пору?

– Разведчик, – сквозь зубы проговорила Софья.

– Мы рады поговорить с тобой, царев стольник... Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас сердчать? (Волков молчал.) Ты отвечай, а то заставим...

– Заставим, – тихо повторила Софья, тяжело, по-мужичьи глядя на него.

– Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпят ли какой нужды? Государыня все хочет знать, – спрашивал Шакловитый. – А зачем караулы на дорогах ставите, – забавы ради али кого боитесь? Скоро в Москву от вас и проезда не будет... Обозы с хлебом отбиваете, – разве это порядки...

Волков, как приказано, молчал, – опустил голову. Страшно было молчать. Но чем нетерпеливее спрашивал Шакловитый, чем грознее хмурилась Софья, тем упрямее сжимались у него губы. И сам был не рад такому своему озорству. Много накопилось силы, покуда валялся на боку в Преображенском. И сердце ярилось: пытай, на – пытай, ничего не скажу... Кинься сейчас Шакловитый с ножом, – ремни резать из спины, – нагло бы, весело взглянул ему в глаза. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись. Шакловитый бешено топнул, вскочил:

– На дыбе отвечать хочешь?

– Нечего мне вам отвечать, – проговорил Волков (сам даже ужаснулся), ногу выставил, плечом повел. – Сами и поезжайте в Преображенское, стрельцов провожатых у вас, чай, хватит...

Со всего плеча Шакловитый ударил его в душу. Волков подавился, попятился и видел, как от стола поднималась Софья, дрожа налитым гневом толстым лицом.

– Отрубить голову, – сказала она хрипловато.

Никита Гладкий и караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» – закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать: кто таков и за что рубить голову? Посмеиваясь, стали вызывать, – переключкой через всю темную площадь, – охотника-палача. Гладкий сам потащил было саблю из ножен. Ему сказали: «Стыдновато, Никита Иваныч, саблю таким делом кровавить». Заругав-

шись, убежал во дворец. Тогда старик караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова.

– Ступай на здоровье. В ворота не ходи, а беги стеной, да и перелезь где-нибудь...

Костры на Лубянской площади погасли (один еще тлел у избы), – никто не хотел таскать дров, сколько ни шумел Овсей. В темноте многие стрельцы ушли по дворам. Иные спали. Человек пять, отойдя к забору, в тень навесистых лип, разговаривали тихо...

– Гладкий говорил: на Рязанском подворье у Бориса Голицына спрятано шестьдесят чепей гремющих серебряных... Разделим, говорит, их, продуваем...

– Гладкому дорваться грабить, только он мало кого сманит на это.

– Веры нет: им грабить, а нам отвечать.

– Стольник правильно говорил: как бы мы скоро царя Петра не испужались...

– Недолго и испужаться...

– А эта, царевна-то наша, – одних дарит деньгами, а другие торчи день и ночь в караулах, дома все хозяйство разорено...

– А я бы, ей-ей, ушел без оглядки в потешные войска...

– А ведь он, ребята, одолеет...

– Очень просто...

– Зря мы здесь ждем... Дождемся петли на шею...

Замолчали, обернулись. Со стороны Кремля кто-то подскакивал во весь мах. «Опять Гладкий... Что его, дьявола, носит!...» Пьяно загнав коня в костер, Гладкий соскочил, закричал:

– Для чего стрельцы не в сборе?! Для чего не посланы на заставы?! В Кремле все готовы, а у вас и костры не горят! Спят! Дьяволы! Где Овсей? Послать в слободы! Как ударим на Спасской башне, – всем стать под ружье...

Ругаясь, раскорячивая ноги, Гладкий убежал в избу. Тогда стоявшие под липами сказали друг другу:

– Набат...

– Нынче ночью...

– Не соберут...

– Нет...

– А что, братцы, если... а? (Ближе сдвинулись головами и чуть слышно):

– А там поблагодарят...

– Само собой...

– И награда и все такое...

– Ребята, а тут дело гиблое...

– Знаем... Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо...

– Ну, кто?

– Дмитрий Мелнов, пойдешь?

– Пойду.

– Яков Ладыгин, пойдешь?

– Я-то? Ладно, пойду...

– Добивайтесь – до самого... В ноги, и – так и так... Замышлено-де смертное убийство на тебя, великого государя... Мы-де, как твои слуги верные, как мы хрест целовали...

– Не учи, сами знаем...

– Скажем...

– Идите, ребята...

15

Воевать с двумя батальонами – Преображенским и Семеновским – и думать не приходилось. Тридцать тысяч стрельцов, жильцы, иноземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал: спокойно ждать в Преображенском до весны. Скоро – осенняя распутица, морозы, – стрельцов поленом не сгонишь с печи воевать. А весною будет видно... Хуже не станет, думать надо, станет хуже для Софьи и Василия Васильевича: за зиму бояре окончательно перессорятся, начнут перелетать в Преображенское; жалованья стрельцам выдано не будет, – казна пуста. Народ голодает, посадки, ремесленники разорены, купечество стонет. Но, буде Софья все же поднимет войска по набату, – нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен, – место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более...

По совету Бориса Голицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Каждый день генерал Зоммер устраивал смотры и апробации, – от пушечных выстрелов едва не все стекла полопались во дворце. Но когда Петр заговаривал про Москву, Зоммер только сопел хмуро в усы: «Что ж, будем защищаться...» Приезжал Лефорт, но не часто, – трезвый, галантный, с боязливой улыбочкой, и вид его более всего пугал Петра... Он не верил уж и Лефорту. Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Подолгу стоя в ночной сырости на берегу Яузы, Петр вглядывался в сторону Москвы, – тьма, ни огонька и тишина зловещая.

Вздрыгнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать.

Только первые ночи по возвращении он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке, в низенькой, с одним оконцем палате, вроде чулана, – царю на лавке, Алексашке на полу, на кошме. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку, – была она брюхатая, на четвертом месяце, – дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи. Вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорожному, – вошел он длинный, худой, чужеватый, – прильнула лицом, руками, грудью, животом... Лапушка поцеловал жесткими губами, – весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу: «Ну, ну, а что же не писала про такое дело», – и мимолетно смягчилось его лицо. Пошел с женой к матери – поклонился. Говорил отрывисто, непонятно, дергал плечиком и все почесывался. Наталья Кирилловна сказала под конец: «Государь мой Петенька, мыльню с утра уж топим...» Взглянул на мать странно: «Матушка, не от грязи свербит». Наталья Кирилловна поняла, и слезы поползли у нее по щекам.

Только на три ночи Евдокия залучила его в опочивальню, – как ждала, как любила, как надеялась приласкать! Но заробела, растерялась хуже, чем в ночь после венца, не знала, о чем и спросить лапушку. И лежала на шитых жемчугом подушках дура дурой. Он вздрагивал, почесывался во сне. Она боялась пошевелиться. А когда он ушел спать в чулан, – со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным... Так начинался август... В Москве было зловеще, в Преображенском – всё в страхе, настороже.

16

- Мин херц, а что, если тебе написать римскому цезарю, чтобы дал войско?
- Дурак...

– Это я-то? – Алексашка вскочил на кошме на четвереньки. Подполз. Глаза прыгали. – Очень не глупо говорю, мин херц. И просить надо тысяч десять пеших солдат... Не больше... Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем.

Алексашка присел у изголовья. Петр лежал на боку, подобрав колени, натянув одеяло на голову. Алексашка кусал кожу на губе.

– Денег у нас на это нет, конечно, мин херц... Нужны деньги... Мы обманем... Неужто мы императора не обманем? Я бы сам слетал в Вену. Эх, и двинули бы по Москве, по стрельцам, ей-ей...

– Иди к черту...

– Ну, ладно... – Алексашка так же проворно лег под тулуп. – Я же не говорю – к шведам ехать кланяться или к татарам... Понимаю тоже. Не хочешь, – не надо... Дело ваше...

Петр заговорил из-под одеяла, неясно, будто сквозь стиснутые зубы:

– Поздно придумал...

Замолчали. В каморке было жарко. Скребла мышь под печью. Издалека доносилось: «Посматривай», – это кричали караульные на Язуе. Алексашка ровно задышал...

Петра все эти ночи томила бессонница. Только голова начнет проваливаться в подушку, почудится беззвучный вопль: «Пожар, пожар!» И сердце затрепещет, как овечий хвост... Сон – прочь. Успокоится, а ухо ловит, – будто вдалеке в доме за бревенчатыми стенами кто-то плачет... Много было передумано за эти ночи... Вспоминал: хоть и в притеснении и на задворках, но беспечно прошли годы в Преображенском – весело, шумно, бестолково и весьма глупо... Оказался: всем чужой... Волчонок, солдатский кум... Проплясал, доигрался, – и вот уж злодейский нож у сердца...

Снова слетал сон. Петр плотнее скрючивался под одеялом.

... Сестрица, сестрица, бесстыдница, кровожадная... Широкобедрая, с жирной шеей... (Вспомнил, как стояла под шатром в соборе.) Мужичье нарумяненное лицо, – мясничиха! Гранаты на дорогу велела подбросить... С ножом подсылает... В поварне вчера объявился бочонок с квасом, хорошо, что дали сперва полакать собаке, – сдохла...

Петр отмахнулся от мыслей... Но гнев сам рвался в височные жилы... Лишить его жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такой жадностью не хотел жить, как Петр...

– Алексашка... Черт, спишь, дай квасу...

Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа. Почесываясь, принес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув, подал. Зевнул, Поговорили немного. «Послушивай», – печально, бессонно донеслось издали...

– Давай спать, мин херц...

* * *

Петр скинул с лавки голые худые ноги... Теперь не чудилось, – тяжелые шаги торопливо топали по переходам... Голоса, вскрики... Алексашка, в одном исподнем, с двумя пистолетами стоял у двери...

– Мин херц, сюда бегут...

Петр глядел на дверь. Подбегают... У двери – остановились... Дрожащий голос:

– Государь, проснись, беда...

– Мин херц, – это Алешка.

Алексашка откинул щеколду. Тяжело дыша, вошли – Никита Зотов – босой, с белыми глазами; за ним преображенцы, Алексей Бровкин и усатый Бухвостов, втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов, – бороды, волосы растрепаны, губы отвисли, взоры блаженные.

Зотов, со страху утративший голос, прошипел:

– Мелнов да Ладыгин, Стремянного полка, из Москвы – прибежали...

Стрельцы с порога повалились – бородами в кошму и закликали истово, как можно страшнее:

– О-ой, о-ой, государь батюшка, пропала твоя головушка, о-ой, о-ой... И что же над тобой умышляют, отцом родимым, собирается сила несметная, точат ножи булатные. Гудит набат на Спасской башне, бежит народ со всех концов...

Весь сотрясаясь, мотая слипшимися кудрями, лягая левой ногой, Петр закричал еще страшнее стрельцов, оттолкнул Никиту и побежал, как был, в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высывались, обмирали старушонки.

У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил – белый, длинный, протянул, будто слепой, перед собой руки... «Батюшки, царь!» – со страха иные попадали. Петр кинулся сквозь людей, вырвал узду и плетъ из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремяна, и, нахлестывая, поскакал, – скрылся за деревьями.

Алексашка был спокойнее: успел надеть кафтан и сапоги, крикнул Алешке: «Захвати царскую одежду, догоняй», – и поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в Сокольничьей роще.

– Стой, стой, мин херц!

В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Слышались шорохи. Петр озираясь, вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать, Алексашка хватал его лошадь, повторял сердитым шепотом:

– Да погоди ты, куда ты без штанов, мин херц!..

В папоротнике шумно зафырчало, – путаясь крыльями, вылетел тетерев, тенью пронесся перед звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду. Втроем, торопливо, кое-как одели царя. Подскакало еще человек двадцать стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево и будто слышался набат. Петр проговорил сквозь зубы:

– В Троицу...

Помчались проселками, пустынными полями на троицкую дорогу. Петр скакал, бросив поводья, – треухая шляпа надвинута на глаза. Время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее. Впереди него и сзади – двадцать три человека. Размашисто били копыта по сухой дороге. Холмы, увалы, осиновые, березовые перелески. Позеленело небо на востоке. Похрапывали лошади, свистел ветер в ушах. В одном месте какая-то тень шарахнулась прочь, зверь ли – не разобрали, – или мужик, приехавший в ночное, кинулся в траву без памяти от страха.

Нужно было поспеть в Троицу вперед Софьи. Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшем яме³ переседлали, не передохнув, поскакали дальше. Когда вдали выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился... Шагом въехал в монастырские ворота. Царя сняли с седла, внесли, полуживого от стыда и утомления, в келью архимандрита.

17

Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском: Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили, Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто... Все – Наталья Кирилловна с беременной невесткой,

³ Ям – постоянный двор. Отсюда – ямщик. (Примеч. А. Н. Толстого.)

ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице.

Когда на другой день Софья стояла обедню в домово́й церкви, – сквозь бояр протолкнулся Шакловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней:

– Царя Петра из Преображенского согнали, ушел, бес, в одной сорочке неведомо куда...

Софья подобрала губы, проговорила постно:

– Вольно ж ему, взбесился, бегать...

Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу, – непонятно, когда его успели сманить и кто, – должно быть, Борис Голицын, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на ярославскую дорогу...

Василий Васильевич Голицын ночи проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался. Шакловитый метался по полкам. Софья, затаив бешенство, ожидала...

Неожиданно ушел в Троицу с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Цыклер, семь лет тому назад вытаскивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича. Он был в доверенности у Софьи. И уже, конечно, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы.

Узнав про Цыклера, Софья растерялась. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы уходят? А из Троицы стали прибывать гонцы во все девятнадцать стрелецких полков с грамотами (написанные рукою Бориса Голицына и подписанные наискось, с чернильными брызгами – «Птр»), где приказывалось полковникам и урядникам, не мешкая, ехать к царю Петру для великого государственного дела...

Гонцов били на заставах и грамоты отнимали, но некоторые успели проскочить в полки и прочесть указ. Тогда Софья велела объявить: «Кто осмелится идти к Троице, – тому рубить голову». Полковники сказали на это: «Ладно, не пойдем». Василий Васильевич надумал послать надежных людей к тем стрельчихам, коих мужья перекинулись к Петру, и, пугая, уговорить стрельчих написать мужьям, чтобы вернулись. Так и сделали, но толку от этого вышло мало.

Послали в Троицу патриарха Иоакима – уговорить мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался, даже не отписал Софье. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады... «Без оплошки явиться в Троицкую лавру, если же кто не явится, – тому быть в смертной казни...» Выходило: и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Норматский, Дуров, Сергеев, пятьсот урядников, множество рядовых стрельцов, выборные от купечества и посадов в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, – с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, – жаловал чаркой водки приходящих, и они вопили слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали: «Идемте в Москву ловить злодеев...»

Василий Васильевич сказался больным. Шакловитый, боясь теперь показываться, пребывал в тайных дворцовых покоях. Гладкий с товарищами прятался на подворье у Медведева. В Кремле закрыли все ворота. Выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам, – шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти – уходила власть, уходила жизнь.

Но в городе как будто все было покойно. Шумели, как всегда, площади и базары. По ночам слышались колотушки сторожей, да кричали петухи. Воевать никому не хотелось. Все, казалось, забыли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами.

Тогда она решилась, и двадцать девятого августа одна с девкой Веркой в карете и с небольшой охраной сама поехала в Троицу.

18

День и ночь пыль стояла над ярославской дорогой, – шли из Москвы пешие и конные, катили колымаги. Перед стенами Троицкой лавры, в посадах и в поле теснились обозы, дымили костры, – шум и драки ежечасно из-за места, из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия, и житницы скоро опустели, стога в полях были растащены. А стрельцов и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посылали отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыпленка. И все же у Троицы тесно было и голодно. Многие высокие бояре жили в палатках, кто на дворе, кто прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце под солнцепеком, тут же ели всухомятку. Трудно было сменить на эдакую давку и толкучку покойные, – куда и птица чужая не залетит, – московские дворы. Но все понимали, – решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? Будто бы хуже, чем теперь, – некуда: вся Москва, весь народ, вся Россия – в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа под телегами, люди разговаривали вольно и вволю. Все поля кругом лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то мужики, знающие волшебство, – подмигивая странно, пересыпали в шапке бобы, присев, раскинув небольшой плат на земле, – кому хочешь разводили бобы: выбросит их в три кучки, проведет перстами и тихо, человечно вещает:

– Чего, мол, хотел, – получишь, о чем думаешь, – не сомневайся, бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, овчину не носит, – лицом бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. Дождешься своего – может, скоро, может, нет, аминь. Спасибо не говори, давай из-за щеки деньгу...

Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между телегами.

– У царевны станова жила подкосилась, – шептали они, – князь Василий Голицын до первого снега не доживет... Умен, что ушел от них... Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх, они всему делу венец. Они за ядро станут... А самое ядро будет вот какое: боярам не велят в каретах ездить и оставят каждому по одному двору, только чтобы прожить. И гостиные люди и слободские лучшие люди выборные будут ходить во дворец и говорить уверенно: это, мол, сделаете, а этого не надо... Иностранцев выбьют всех из России, и дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет воля, – живи, где хочешь, без надсады, без повинностей...

Так говорили волхвы и чародеи, так думали те, кто слушал. Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. Храмы и соборы открыты, озарены свечами, суровое монастырское пение слышалось день и ночь.

Чуть свет царь Петр, – по правую руку царица мать, по левую патриарх, – сходили с крыльца стоять службу. После, появляясь перед народом, царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, говорил:

– Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь, – и сверкивал глазами на Петра.

Царь, одетый в русское платье, – в чистых ручках шелковый платочек, – был смирён, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать, или патриарх, или Борис Голицын, то и делал, из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скорого-

ворку, таращенье глаз бросил, – благолепно и тихо отвечал и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то и дело повторяла ближним боярам:

– Не знаю, как Бога благодарить, – образумился государь-то наш, такой истинный, такой чинный стал...

Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт, и то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху, – приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал, облегченно вздыхал. Садился близко рядом. Лефорт ломаным шепотом рассказывал про то и се, смешил и ободрял и между балагурством вставлял дельные мысли.

Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке, и приводил примеры из «гиштории Брониуса» про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою... «Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с мужчиной, а на другой день семь городов взял... Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрасил и в бегство обратил, но впоследствии сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил», – говорит Брониус... Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра.

Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софьей: не рваться в драку, – драка всем сейчас надоела, – а под благодатный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как подгнивший столб. Лефорт нашептывал:

– Ходи степенно, Петер, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят, – всем будешь любезен. Вот, скажут, такого господина нам бог послал, при таком-то передохнем... А кричит и дерется пускай Борис Голицын.

Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-французски называется политик – знать свои выгоды, – объяснял Лефорт. – Французский король Людовик Одиннадцатый, – если мужик ему нужен, – и к подлому мужику заходил в гости, а, когда надо, знаменитому дюку или графу голову рубил без пощады. Не столько воевал, сколько занимался политик, и лисой был и львом, врагов разорил и государство обогатил...»

Чудно было его слушать: танцор, дебошан, балагур, а здесь вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались: «У вас каждый тянет врозь, а до государства никому дела нет: одному прибытки дороги, другому честь, иному – только чрево набить... Народа такого дикого сыскать можно разве в Африке. Ни ремеслов, ни войска, ни флота... Одно – три шкуры драть, да и те худые...»

Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим... Будто со свечой проникал он в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уж и огонек лампы перед ликом Сергия лизал зеленое стекло, и за окном затихали шаги дозорных, – Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое:

– Ты очень умный человек, Петер... О, я много шатался по свету, видел разных людей... Тебе отдаю шпагу мою и жизнь... (Любовно заглядывал в карие, выпуклые глаза Петра, такого тихого и будто много лет прожившего за эти дни.) Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди, – мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют... А бояре пусть спорят между собой за места, за честь, – им новые головы не приставишь, а отрубить их никогда не поздно... Выжди, укрепись, еще слаб бороться с боярами... Будут у нас потехи, шумство, красивые девушки... Покуда кровь горяча, – гуляй, – казны хватит, ты – царь.

Близко шептали его тонкие губы, закрученные усики щекотали щеку Петра, зрачки, то ласковые, то твердые, дышали умом и дебошанством. Любимый человек читал в мыслях, словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра...

Наталья Кирилловна не могла надивиться, – откуда у Петруши столько благоразумия; не нарадовалась на его благолепие: мать и патриарха почитает, ближних бояр слушает, с женой

спит, в мыльню ходит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре: пятнадцать лет жила в забросе, и вот снова пихаются локтями великородные князья, чтоб поклониться матушке царице; бояре, окольничие в уста смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на первом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ валится наземь, юродивые, калеки, нищие с воплями славословят ее, тянутся схватить край подола. Голос у Натальи Кирилловны сделался покойный и медленно-речивый, взгляд царственный. В келье у нее на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели бояре: ближайший из людей, бывший еще при младенце Петре в поддядьках, Тихон Никитьевич Стрешнев, – на устах блаженная улыбка, бровями занавешены глаза, чтоб люди зря не судили: лукав ли он, умен ли; суровый, рыжий, широкий лицом князь Иван Борисович Троекуров; свояк Петр Абрамович Лопухин, – у него обтянутые скулы горели и голые веки были красны, – до того низенькому, сухому старику не терпелось властвовать; прислонясь к печи, покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь Михайла Алегукович Черкасский... В середине месяца прибыл Федор Юрьевич Ромодановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая усы, ворочая, как стеклянными, выпученными глазами, вздыхал, колыхая великим чревом.

Царица, войдя в келью, называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, держа в перстах вынутую просфору. Рядом – братец, Лев Кириллович, румяный, тучный, степенный, и бояре не спеша с ними беседовали о государственных делах: как поступить с Софьей, как быть с Милославскими, – кого в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким приказом...

Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы, – разве по крайней нужде, – стыдно ему было за двоюродного брата, да и некогда: дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск. Советов ничьих не слушал, – заносчив был и горд хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыле, с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками. Подскакивал, подбоченясь, к стрельцам, валившимся, как скошенная трава на колени.

– Здорово, молодцы! – сирым горлом кричал, и багровела пролысина у него на подбородке. – Бог вас простит, царь помилует. Распрягайте обоз, варите кашу, вас государь жалует бочкой вина...

– Ин веселый какой Борис-то, – говорили бабам стрельцы в обозе, – значит, тут дело в гору, хорошо, что мы перекинулись...

Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были не тревожиться, – в келье у царицы сидеть, думать – спокойнее. Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на дворе у митрополита, злобились на Бориса: «Семь лет от Василия терпели, а теперь, вишь, Борис на шею садится... Променяли кукушку на ястреба...» Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на Кукуе, за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх.

Двадцать девятого августа к окованным воротам лавры подскочил стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, на пыльном лице видны одни выкаченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к надворотной башне и страшно закричал:

– Государево дело!

Отворили скрипящие ворота, сняли стрельца с загнанной лошади, – здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и идти, – до того загорелся, торопившись по государеву делу, и под руки с бережением подвели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой. Увидев Бориса на крыльце, рванулся к ножкам князя:

– Софья в десяти верстах, в Воздвиженском...

19

Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья открыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и хриstopродавцами, грозила кулаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки, но, когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвезти себя на какой ни на есть двор.

Мужики и бабы высовывались из калиток, мальчишки влезали на крыши – глядеть, собаки лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, упавшая от стыда и гнева. Верка припала к ее ножкам, урод-карла Игнашка, в аршин ростом, в колпаке с соколиными бубенцами, взятый в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, зажгла лампы, и Софья прилегла. Предчувствие беды сдавило ей голову как железным обручем.

Не прошло и двух часов, послышался конский топот, звяканье сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в кабак, вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен.

– Где царевна?

Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая:

– Уйди, уйди, бесстыдник... Да спит она...

– А-а, ну, спит, так скажи царевне, чтоб в лавру не ходила...

Софья вскинулась. Глядела на Бутурлина, покуда он не стащил шапки...

– Пойду в лавру... Скажи брату: приду...

– Дело твое... Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла, князя Ивана Борисовича Троекурова, и – покуда он не прибудет – отсюда тебя не пускать...

Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице. Слышалось хлопанье пастушьего кнута, мычали коровы, скрипели ворота. И – опять тишина. Позванивали жалобно бубенчики на Игнашкином колпаке, – шутенок уныло сидел на сундуке, свесив ноги. «Уж и этот меня хоронить собрался...» Злоба сотрясала Софью... Достать бы его рукой – покатылся бы с сундука... Но руки лежали, как свинцовые.

– Верка, – позвала она тихо, низко. – Про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре...

По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы – пузырь кровавый... Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.

Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру, – вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками.

– Верка, подай ларец.

Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго, – так что Софьины плечи опять сотряслись досадой, – чиркала огнивом. Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана, – писал он Петру, чтоб помирились, не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.

Читая, усмехнулась недобро. Но, все равно, – придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волчонка из Троицы... Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился – пальцами до полу, выпрямился – медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки... Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:

– Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприятно. – И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот – боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи.

Троекуров проговорил:

– Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна... Дороги опасны...

– Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас...

– Да что в них толку-то...

– Оттого и еду без охраны, – не хочу крови, хочу мира...

– Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет... Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это...

– Ты зачем приехал?! – сдавленно крикнула Софья... (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) – Указ привез? Верка, возьми указ у боярина... А мой указ будет такой: вели лошадей впрячь, ночевать хочу в лавре...

Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать:

– Указом царя и великого князя всея Великие и Малые и Белые России самодержца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет...

– Пес! – Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула... Черный плат упал с ее головы. – Вернись со всеми полками, твоя голова первая полетит...

Троекуров, крихтя, нагнулся, поднял указ и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:

– А буди настаивать станешь, рваться в лавру, – велено поступить с тобой нечестно... Так-то!..

Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, – как же ему, послу, в сем случае поступить: кланяться или не кланяться? Покосился на Софью, – лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь без поклона.

20

«... А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже...»

Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат, Борис, писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти... С ним же прибыли иноземные офицеры, и драгуны, и рейтары... Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы, да

торговые бани покидать неохота... Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу, – завтра будет поздно... Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе...»

Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегства из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали средь бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин, Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице...

– Голова моя седа, и тело покрыто ранами, – сказал Гордон и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки, – я клялся на Библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу. – Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой. – Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе...

Василий Васильевич не противоречил, – бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью оберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице – разговаривать с Петром... Но брало сомнение, – а вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор, бунтовщик?..» Сомневаясь, – бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.

На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха; упав – закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову...

Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось – счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, – приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостиные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана, – он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбаясь (видно уже, что не жилец). Сама, в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, – как была с дороги, – стала говорить народу:

– Нам мир и любовь дороже всего... Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь... И вот, помолясь, села я на лошадок да поехала сама – с братцем Петром переговорить любовью... До Воздвиженского только меня и допустили... И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, – не чаю, как жива вернулась... За сутки вот столечко от просфоры только и съела... В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына... Они братца Петра опоили... По все дни пьяный в чулане спит... Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое... Скажите, – мы вам ненадобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подальше искать себе кельи...

Из глаз ее брызнули слезы... Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван... Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза... Когда царевна спросила: «Не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» – закричали: «Можно, можно... Не выдадим...»

Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но – как не дашь? Хлеба на Москве стало мало, – обозы сворачивают в Троицу, в городе разбои, порядка нет. На базарах – не до торговли. Все дело стоит, – смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын – одна от них радость...

Сегодня тысяч десять народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищами и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку!» – кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!»... Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.

– Выдь, скажи зверям, – не отдам Федора Левонтьевича, – задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав к двери...

Не помнил он, как и вышел на Красное крыльцо, – жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей. Он – не помнил, что – крикнул, и задом вполз назад в сени... Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами... Он увидел белую, с остановившимися, без зрачков, глазами Софью... «Не спасти его, выдавай», – сказал. И дверь с треском раскрылась, повалили люди. Софья спиной прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем, низко, закричала, оттолкнула, побежала... Когда оба стояли в Грановитой палате, услышали дурной крик Федьки Шакловитого... Его взяли в царевниной мыльне.

И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца, домоправитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах, Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя, – из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы, – властная, грубая, страшная... Лицо его славы!

Что он скажет Петру, что ответит врагам? С бабой приспал себе власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь: «О гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...» Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу... Стыд! Стыд! От недавней славы – один стыд!

Сквозь щель ставни тускло краснело... Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты со знаками зодиака над его головой... Обманули астрологи, волхвы и колдуны... Пощады не будет... Он медленно на самые брови надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча, – фитилек свалился в растопленный воск, – треща, погас...

На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ:

– Приведи его...

В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впихнули его к Василию Васильевичу под ноги.

– Пускай, с Богом! – тихо-важно проговорил кучер.

Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны. Коровий пастух играл на рожке, бредя

по пыли мимо ворот, откуда с мычанием выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик: «Лей... лей!» – на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высыпали золу, разинув рот, глядели на мчавшихся снежно-белых коней, на ездовых с павлиньими перьями, подсакивающих в высоких седлах, на зверовидного кучера, державшего в вытянутых ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух великанов с саблями наголо на запятках кареты. И у бабы ведро валилось из рук, прохожие сдергивали шапки, иные для бережения становились на колени...

В последний раз так-то пролетел по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он спрятал лицо в воротник дорожного тулупчика. Казалось – дремал. Но когда Васька Силин попробовал пошевелиться, князь со всей силой ударил его ногой...

«Во как», – удивился Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда выехали на заставу, Василий Васильевич сказал тихо:

– Ложь, воровство, разбой еси твое волхвованье... Пес, страдный сын, плут... Кнутом тебя ободрать – мало...

– Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет, и – царский венец...

– Молчи, молчи, вор, бл... сын!

Василий Васильевич закинулся и бешено топтал колдуна, покуда тот не заохал...

В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом – третий. «Едет, едет!»... Человек пятьсот дворни, на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика... Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь, – больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы... Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей, с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами... Кругом широкого двора – конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни...

«Завтра, – подумал, – налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят... Все пойдет прахом...» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей, повадкой и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца. Прильнул дрожащими губами к руке, – нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против венецейского зеркала, где отражались струганные стены, в простенках – шпалерные ковры, полки с дорогой посудой... Все пойдет прахом!.. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил, не съел, – забыл. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то...

– Ну? – спросил Василий Васильевич сурово.

– Батюшка, были уж здесь...

– Из Троицы?

– Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков...

– Вы что сказали?

– Сказали, – батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол... Стольник сказал: пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бесчестья...

Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает, – плечо повисло, ступни по-рабски – внутрь, половица мелко трясется под ним. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо и стало его жаль:

– Не дрожи коленкой, сядь...

– И мне, батюшка, приказали быть с тобой к Троице...

Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул укусуницу...

– Собирайся, Алеша, – проговорил Василий Васильевич. – Отдохну, – в ночь выедем... Бог милостив... (Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забежали.) Вот что надо, Алеша: мужика одного с собой привез... Поди присмотри, чтоб отвезли его под речку, в баню, да заперли бы там, берегли пуще глаза...

Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, ссутулился, – морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа...

* * *

Васька Силин сидел в баньке, на реке под обрывом. Весь день кричал и выл, чтоб дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, плескалась плотва в речке, спасаясь от щук, да стая скворцов, готовясь к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве, что видна была колдуну сквозь волоковое окошко. Утомились птицы, сели на орешник, защебетали, засветили, не пугаясь человеческих вздохов...

«Родная моя Полтавщина, – шептал колдун, – черт меня занес в проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем врозь поразойтись, чтоб все города у вас позападали...»

Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полук, под голову положил веник. Задремал и вдруг вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага...

– Что теперь скажешь, провидец? – спросил князь странным голосом.

Сплюховал Васька Силин, – задрожал, затрясся... А понять бы ему, что оставалась еще вера у князя в его провиденье... Схватить бы князя сильно за руку да завопить: «К царю на смертную муку идешь! Иди, не бойся... Четыре зверя когти разжали... Четыре ворона прочь отлетели... Смерть отступилась... Вижу, все вижу...» Вместо этого Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить:

– Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину... От меня ни вреда, ни проносу не будет...

Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника поленом, навесил замок... Забегал около бани. Васька понял: хворостом заваливает!.. Закричал: «Не надо!»... Князь ответил: «Много знаешь, пропади!»... И дул, покашливая, раздувая трут. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое окошечко, стал кричать, – глотку забило дымом... Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел... Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка, – спастись от жара. Скореежилась крыша. Пылали стены...

В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносившейся к ярославской дороге, летели по жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи...

– Где горит? Отец... Не у нас ли? – не раз и не два спрашивал Алексей.

Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты...

21

На воловьем дворе в подземелье, где в Смутное время были пороховые погреба, теперь – подвалы для монастырских запасов, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу – лежащее бревно с хомутом – дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших, и починили крутую лестницу – из подполья наверх, в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шакловитый.

Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы, из Разбойного приказа, привезли заплечного мастера, Емельяна Свежева, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады, – пятнадцатым ударом пересекал человека до станового хребта.

Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного. Хитростью захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во все воеводства.

Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читаемые ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю...» Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но он этого не знал и готовился по-прежнему отпираться, что-де бунта не заводил и на государево здоровье неумышлялся...

Петр в начале розыска не бывал на допросах, – по вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами – Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он сидел в стороне, под заплесневелым сводом. Уперев локти в колена, положив подбородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, – рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли, – Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день был он бледен и задумчив. Но раз за разом по привычке и уже не прятался.

Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно, – Софья была еще в Кремле, но уже бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных – бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живыми с семьями и промыслами.

Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было стрельцов. Зашумели: «Государь, выдай нам Федьку, сами с ним поговорим...» Нагнув голову, торопливо махая руками, он побежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвала. Запахло кожами и мышами. Пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье – Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ромодановский – важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шакловитого: он на коленях стоял в шаге от них, кудрявая голова уронена, дорогой кафтан, – в нем его взяли во дворце, – порван под мышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся:

– Прикажешь продолжать, государь?

Стрешнев проговорил сквозь густые усы:

– Вору и ответ умей давать, – а что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду...

Борис Алексеевич повысил голос:

– У него один ответ: слов таких не говаривал да дел таких не дельвал! А по розыску – на нем шапка горит... Пытать придется...

Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь, – хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой... И – припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею. Сунул руки в карманы ферязи. Сел, – важный, презрительный, и – сорвавшимся юношеским голосом:

– Пусть скажет правду.

Борис Алексеевич позвал:

– Емеля...

За дыбой из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро, – сел на пятки, – голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева, – лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув – поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса... Федька хотел было честно крикнуть, – вышло хрипло, невнятно:

– Господи, все скажу...

Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шакловитый. Блок закрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался.

Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой, – Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалившимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой...

По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и приблизив сухой нос к свече, начал читать:

– «И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: „В прошлом-де году, в июле, а в котором числе – того не упомнит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня. И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и Федор взял их затем, чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же... В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: „Слушайте, как учинится в хоромах крик...“ А того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромах был великий... “Учинится-де крик, будьте готовы все: которых вам из хором станем давать, вы их бейте до смерти...”»

– Таких слов не говаривал, Филипп напрасно врет, – выдавил из горла Шакловитый.

По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел, – удобно ли? – закинулся, размахнулся кнутом и, падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки. Вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. (Борис Алексеевич быстро сказал: «Три».) Ударил в третий. Шакловитый вопленно закричал, брызгая слюной:

– Пьяный был, говорил спьяну, без памяти...

– «И далее, – когда замолк крик, продолжал дьяк читать, – говорил он Филиппу же про государя Петра Алексеевича неистовые слова: „Пьет-де и на Кукуй ездит, и никакими-де

мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяна... И хорошо б ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтоб из тех гранат убить его, государя...»

Шакловитый молчал. «Пять!» – жестко приказал Борис Алексеевич.

Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут. Петр подскочил к Шакловитому, глазами вровень, – так был высок, – глядел в обезумевшие Федькины глаза... Спина, руки, затылок ходуном ходили у него...

– Правду говори, пес, пес... (ухватил его за ребра). Жалеете – маленького меня не зарезали? Так, Федька, так?... Кто хотел резать? Ты? Нет? Кто?... С гранатами посылали? Кого? Назови... Почему ж не убили, не зарезали?..

В круглое пятнисто-красное лицо царя, в маленький перекошенный рот Федька забормотал оправдания, – жилы надулись у него от натуги...

– ... одни слова истинно помню: «Для чего, мол, царицу с братьями раньше не ухаживали?...» А того, чтоб ножом, гранатами, – не было, не помню... А про царицу говорил воровски Василий...

Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу:

– Бей!

Емельян, берегясь не задеть бы царя, полоснул с оттяжкой четырехгранным концом кнута Федьку между лопаток, – разорвал до мяса... Шакловитый завыл, выставляя кадык... На десятом ударе голова его вяло мотнулась, упала на грудь.

– Сними, – сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым платочком. – Отнеси наверх бережно, оботри водкой, смотри, как за малым дитем... Чтобы завтра он говорил...

... Когда бояре вышли из подполья на воловий двор, Тихон Никитьевич Стрешнев спросил Льва Кирилловича на ухо:

– Видел, Лев Кириллович, как князь-та, Борис-та?

– Не-ет... А что?

– Со скамьи-та сорвался... Федьке рот-та заткнуть...

– Зачем?

– Федька-то лишнее сказал, кровь-то одна у них – у Бориса-та, у Василия-та... Кровь-то им дороже, знать, государева дела...

Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, удивился выше меры, взмахнул руками, ударил себя по ляжкам.

– Ах, ах... А мы Борису верим...

– Верь, да оглядывайся...

– Ах, ах...

22

В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на полатах вовсе не видно. Скучно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корытце с водой. Бегали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей, то и дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь. «Пропasti на вас нет, съели меня, оглашенные!»

Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня, – в монастырские ворота их не пустили: «Великий-де государь велел вам быть на посаде, до случая...» Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич, по дороге готовился к худшему, – но не курной избы.

Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, – сочувствовал, цыкал языком и, как равного, потрепал Василия Васильевича по коленке... «Нишего, – сказал, – не будь задумшиф,

князь Фасилий Фасильевич, перемелется – мука будет». Ушел, вольный счастливец, звякая большими шпорами.

Некого послать провести в лавру. Посадские и шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилось в голове, дым ел глаза. И не раз почему-то на память приходил проклятый колдун, в ушах завяз его крик (из окошка сквозь огонь): «Отчини двееерь, пропадешь, пропадешь...»

Поздно вечером ввалился в избу урядник со стражей, закашлялся от дыма и – беременной бабе:

– Стоит у вас на дворе Васька Голицын?

Баба ткнула рваным локтем:

– Вот сидит...

– Велено тебе быть ко дворцу, собирайся, князь.

Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, повскакали, засмеялись, – кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно.

– Стой веселей... Воевода на двух копытах едет... А где ж конь его? А промеж ног... Ах, как бы воеводе в грязь не упасть...

Миновали позор. На митрополичье крыльцо Василий Васильевич взбежал бегом. Но навстречу важно из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, – бил в темя каждым словом:

– «...за все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы московские и животы отписать на себя, великих государей. А людей твоих, кабальных и крепостных, опричь крестьян и крестьянских детей, – отпустить на волю...»

Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича, – тот едва стоял, без шапки, Алексей держал его под руку...

– Взять под стражу и совершить, как сказано...

Взяли. Повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи, сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик, в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Была ночь, звезды затягивало сыростью.

23

Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом и Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану:

«... А теперь, государь братец, настает время нашим обоим особам Богом врученное нам царство править самим, понеже есьми пришли в меру возраста своего, а третьему *ззорному* лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титулах и расправе дел быти не изволяем...»

Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь. Шакловитому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы, остальных воров били кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали в Сибирь навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были схвачены дорогобужским воеводой. Их страшно пытали и обезглавили.

Жалованы были награды – землицей и деньгами: боярам по триста рублей, окольников по двести семьдесят, думным дворянам по двести пятьдесят. Стольникам, кои прибыли с Петром в лавру, – деньгами по тридцать семь рублей, кои прибыли вслед – по тридцать два рубля, прибывшим до десятого августа – по тридцать рублей, а прибывшим по двадцатое августа –

по двадцать семь рублей. Городовым дворянам жаловано в том же порядке по восемнадцать, по семнадцать и по шестнадцать рублей. Всем рядовым стрельцам за верность – по одному рублю без землицы.

Перед возвращением в Москву бояре разобрали между собой приказы: первый и важнейший – Посольский – отдан был Льву Кирилловичу, но уже без титула оберегателя. По минувании военной и прочей надобности совсем бы можно было отказаться от Бориса Алексеевича Голицына, – патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута и плахи, но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий род: «Пойдем на это, – скоро и из-под нас приказы вышибут, – купчишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, к царю Петру так и лезут за добычей, за местами...» Борису Алексеевичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав о сем, он плюнул, напился в тот день, кричал: «Черт с ними, а мне на свое хватит», – и пьяный ускакал в подмосковную вотчину – отсыпаться...

Новые министры, – так начали называть их тогда иноземцы, – выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных не случилось. Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, шепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского...

Это были люди старые, известные, – кроме разорения, лихоимства и беспорядка и ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе – купцы всех сотен, откупщики, торговый и ремесленный люд на посадах, иноземные гости, капитаны кораблей – голландские, ганноверские, английские – с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия – золотое дно – лежала под вековой тиной... Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?

Петр не торопился в Москву. Из лавры с войском вышел походом в Александровскую слободу, где еще стояли гнилые срубы страшного дворца царя Ивана Четвертого. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение. Длилось оно целую неделю, покуда хватило пороку. И здесь же окончилась служба Зоммера, – упал, бедняга, с лошади и покалечился.

В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы народа. Держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы, – выборные, – из тех полков, кои не были в Троице... Но голов не рубил молодой царь, не гневался, хотя и не был приветлив.

Глава пятая

1

Лефорт становился большим человеком. Иноземцы, живущие на Кукуе и приезжие по торговым делам из Архангельска и Вологды, отзывались о нем с большим уважением. Приказчики амстердамских и лондонских торговых домов писали о нем туда и советовали: случится какое дело, посылать ему небольшие подарки, – лучше всего доброго вина. Когда он за троицкий поход жалован был званием генерала, кукуйцы, сложившись, поднесли ему шпагу. Проходя мимо его дома, многозначительно подмигивали друг другу, говоря: «О да...» Дом его был теперь тесен – так много людей хотело пожать ему руку, перекинуться словечком, просто напомнить о себе. Несмотря на позднюю осень, начались торопливые работы по надстройке и расширению дома – ставили каменное крыльцо с боковыми подъездами, украшали колоннами и лепными мужиками лицевую сторону. На месте двора, где прежде был фонтан, копали озеро для водяных и огненных потех. По сторонам строили кордегардии для мушкетеров.

По своей воле, может быть, Лефорт и не решился бы на такие затраты, но этого хотел молодой царь. За время троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как умная мать ребенку: Лефорт с полуслова понимал его желания, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды и, казалось, сам горячо его полюбил, постоянно был подле царя не затем, чтобы просить, как бояре, уныло стучая челом в ноги, деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся – с поклонами, улыбочками – у Петра в опочивальне, – и так весельем, радостными заботами, счастливыми ожиданиями – начинался день. Петр любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрасных городах и гаванях с кораблями и отважными капитанами, пропахшими табаком и ромом, – все, что с детства мерещилось ему на картинках и печатных листах, привозимых из-за границы. Даже запах от платья Лефорта был не русский, иной, весьма приятный...

Петр хотел, чтобы дом его любимца стал островком этой манящей иноземщины, – для царского веселья украшался Лефортов дворец. Денег, сколько можно было вытянуть у матери и Льва Кирилловича, не жалелось. Теперь, когда в Москве, наверху, сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт: без него хотелось и не зналось... А что могли присоветовать свои, русские? – ну, соколиную охоту или слепых мужиков – тянуть Лазаря... Тьфу! Лефорт с полуслова понимал его желания. Был, он как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей.

Одновременно возобновились работы над стольным градом Прешпургом, – крепостцу готовили для весенних воинских потех. Полки обшивали новым платьем: преображенцев в зеленые кафтаны, семеновцев в лазоревые, Бутырский полк Гордона – в красные. Вся осень прошла в пирах и танцах. Иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию...

2

Вновь построенный танцзал был еще сырой, от жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна, и напротив их на глухой стене – зеркала в виде окон. Свеже натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в стенных с зеркалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Падал мягкий снежок. Во двор между запорошенными кучами глины и щепок въезжали сани, – голландские – в виде лебедя, расписанные чернью с

золотом, русские – длинные, ящиком – с наваленными подушками и медвежьими шкурами, тяжелые кожаные возки – шестерней цугом, и простые извозчичьи сани, где, задрав коленки, смеясь, сидел какой-нибудь иноземец, нанявший мужика за две копейки с Лубянки до Кукуя.

На каменном крыльце на затоптанных снегом коврах гостей встречали два шута, Томос и Сека, один – в испанской черной епанче до пояса и в соломенной шляпе с вороньими крыльями, другой – турок в двухаршинной рогожной чалме с пришитым наперед свинным ухом. Голландские купцы с особенным удовольствием смеялись над шутком в испанском платье, щелкая его в нос, спрашивали про здоровье испанского короля. В светлых сенях, где дубовые стены были украшены синими фаянсовыми блюдами, гости отдавали шубы и шапки ливрейным гайдукам. В дверях в танцзал встречал Лефорт в белом атласном, шитом серебром кафтане и парике, посыпанном серебряной пудрой. Гости подходили к жаркому очагу, испивали венгерского, закуривали трубки. Русские стеснялись немоты (мало кто еще умел говорить по-голландски, английски, немецки) и приезжали позже, прямо к столу. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана, от гостя к гостю, – знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии, – на удобном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.